



МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШОЛОХОВ

ТИХИЙ ДОН

Том II

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Михаил Шолохов
Тихий Дон. Том 2

«Издательство АСТ»

1930, 1940

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шолохов М. А.

Тихий Дон. Том 2 / М. А. Шолохов — «Издательство АСТ»,
1930, 1940 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-094111-7

«Тихий Дон» – масштабное эпическое полотно, повествующее о донском казачестве в самый противоречивый, переломный период истории нашей страны – кровавой Первой мировой и братоубийственной Гражданской войны, когда, по словам самого Шолохова, «в смертной драке брат идет на брата, сын – на отца». Что же происходило в душах людей в это смутное время, как получилось, что самые родные, близкие люди стали по разные стороны баррикад и превратились в смертельных врагов? По глубине осмысления действительности, удивительной точности в описании характеров этому произведению, пожалуй, нет равных. Книга, о которой говорят и спорят по сей день!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-094111-7

© Шолохов М. А., 1930, 1940
© Издательство АСТ, 1930, 1940

Содержание

Книга 3	6
Часть шестая	6
I	6
II	12
III	20
IV	23
V	28
VI	35
VII	38
VIII	43
IX	48
X	52
XI	56
XII	60
XIII	62
XIV	65
XV	67
XVI	69
XVII	74
XVIII	77
XIX	80
XX	86
XXI	89
XXII	90
XXIII	94
XXIV	95
XXV	101
XXVI	103
XXVII	103
XXVIII	106
XXIX	109
XXX	109
XXXI	112
XXXII	113
XXXIII	117
XXXIV	120
XXXV	122
XXXVI	123
Конец ознакомительного фрагмента.	126

Михаил Шолохов

Тихий Дон. Том 2

© М.А. Шолохов, наследники, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Книга 3

*Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как-то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов – донских казаков.
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком».*

Старинная казачья песня

Часть шестая

I

В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов – Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского – пошли с отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области.

Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие – наполовину, верхнедонцы – лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкаска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для выборов делегатов на Войсковой круг.

Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе в числе остальных делегатов на Круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Мирону Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и баббиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирона Григорьевича. Сваты рядом сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; в Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

– А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышину!

– Нет, – уверил Пантелей Прокофьевич. – Матвей Кашулин надясь был там, гутарил – робеют немцы... Опасаются казаков трогать.

– Ишь ты! – Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем; он, видно успокоившись, перевел разговор: – Какую же власть установить, как думаешь?

– Атамана посодим. Своего! Казака!

– Давай бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без браку был.

– Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

– Так, так, сваток... Их и дураков не сеют – сами родятся. – Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо. – Я своего Митьку думал в люди вывести, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, убежал на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, щелкая нестертой подковой; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

– Гдей-то наши казаки? – вздохнул Пантелей Прокофьевич.

– Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть, держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьих горбы бурунов скупно отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густозеленым опереньем, зацветала степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинкам изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе-ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландштурмистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

– Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат!

– Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! – без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.

– Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади – перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту. – Немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем. Намотав на грядущку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям.

«Свата нет, – мельком подумал он и похолодел. – Заберут коней! Эх, врюхался! Черт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

– Оставь! – Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. – Не трожь чистыми руками! Не дам коней.

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссиня-чистые зубы, – зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень висевшей на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороные таким бешеным наметом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, господи! Во имя отца!..» – мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полстью; но разум осилил – повернул в сторону. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть укрыв, но предупредил:

– Я сховаю, но як будуть дуже пытать, то я, Григорич, укажу, бо мѣни ж расчету нѣма! Хатыну спалють, тай и на мѣнѣ наденуть шворку.

– Уж ты укрой, родимый! Да я тебя отблагодарю чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь – овец пригоню гурт! Десятка первеющих овец не пожалею! – упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая.

Пуще смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смерклось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоновским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крикнул:

– А что – догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали!

Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд хозяина ответил:

– Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков... А вот груш с собственного саду привез тебе по доброй памяти! – Высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: – Груши у нас хороши-расхороши... улежалые... – И распрощался.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал:

– Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственного разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлений, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного, и всего лишь несколько десятков – представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсели двое мигулинцев, подошли еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

– Лучше покойного Каледина – царство ему небесное! – не сыскать, – вздохнул сивобородый шумилинец.

– Почти что, – согласился еланский.

Один из присутствовавших при разговоре, подьесаул, делегат Бессергеновской станицы, не без горячности заговорил:

– Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

– Какой это Краснов?

– Как, то есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир Третьего конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец!

Восторженная, захлебывающаяся речь подьесаула взбеленила делегата, представителя одной из фронтовых частей:

– А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался неплохо. Так и захряс бы в бригадных, кабы не революция!

– Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Подьесаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал:

– Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством... Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его никудышным... А там кто его знает... Может, совсем навыворот...

– А за что ему Георгия дали? Дурак! – Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей костью; откашлявшись, напал на фронтовика: – Понабрались дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши... Ишь какую моду взяли! Поменьше б гутарили – не было б такой разрухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасня, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал – георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство,

что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но как-никак и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве»; а раз писатель, – значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры – приверженцы Краснова – шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву, – капут всем казачьим привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заволосатевшие уши казаков:

– Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. Вот поглядите, продаст он Дон первому же покупателю, на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот – совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

- Пригласить генерала Краснова!
- Милости...
- Покорнейше...
- Просим!
- Нашу гордость!
- Нехай придет, расскажет нам про жизнь! – весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать – даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец генерал, в мундире, с густым засевом крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, – зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки, утирку. «Вот это – генерал! Сразу видать, что человек! Как сам император, ажик подходимей на вид. Вроде аж шибается на покойного Александра!» – думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова.

Круг – названный «Кругом спасения Дона» – заседал неспешно. По предложению председателя Круга, есаула Янова, было принято постановление о ношении погон и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее «былой мощи», о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков:

– Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в

старину наши предки, скажем полновзвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании ста семью голосами против тридцати и при десяти воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войкового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

– Страна наша накануне гибели! Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрадным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг – верховный выразитель воли Дона – тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распущенности и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же Кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольные полосы (казаки, иногородние, калмыки), и лишь правительственный герб, в угоду казачьему духу, претерпел радикальное изменение: взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был нагой казак в папахе, при пашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

– Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

– Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую – о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг – кроме красного, любой герб – кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн – кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка.

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий Южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана, и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернутся к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик; в ушах еще полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Но, отъехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна навстречу поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные ширококрупные лошади мотали куце обрезанными хвостами, лоснились под ярким солнцем. Клонясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбатился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.

II

С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, яйца, масло, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых форменных куртках, с привинченными к винтовкам штыками.

Добротные, желтой кожи, немецкие сапоги с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи, баварская конница поила лошадей в Дону... А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, под Новочеркасском, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го Донского казачьего полка легла под Старобельском, завоевывая области лишней кус украинской территории.

На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал отряд казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.

На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Красные уходили к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета Донская армия, сбита из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркасска офицерами, армия обрела подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами, дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны, составом; полки сбивались в дивизии; в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.

К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое – первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара.

Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета, в переход оставляли за собой не больше трех десятков верст.

На пятые сутки вступили в станицу Кумылженскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табак-самосадом.

– Вот забава, будь она проклята! – крикнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз.

– Вскочила, что ль? – улыбнулся Григорий.

– Глаз щипет. Стал быть, она ядовитая, дьявол!

Христоня, отдирая красное веко, провел по главному яблоку шершавым пальцем; оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони.

Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запыхавшийся на бабу.

Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор Татарский в зятя. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки

были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщев и медвежковатый увалень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня – Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков.

Вторым взводом командовал Николай Кошевой, третьим – Яков Коловейдин и четвертым – Митька Коршунов, после казни Подтелкова спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники.

Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, вилюжилась по лугу.

В задних рядах басисто хохотал Яков Подкова, тенорком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший уряднические лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников.

Петро Мелехов ехал с Латышевым сбочь рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темляком шашки. Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухлощекое лицо Латышева грелась улыбка, обкуренные, с подточенными коронками зубы изжелта чернели из-под небогатых усов.

Позади всех, на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеевич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем.

Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъязвленный оспяной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь: сумы седел раздуты от клажи, выюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить: каждый ремешок испетлян дратвой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет, то теперь шли с покорным безотрадным сознанием: крови не избежать. «Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить», – думал каждый.

Проехали хутор Крепщы. Крытые камышом редкие курени замигали справа. Аникушка достал из кармана шаровар бурсак, откусил половину, хищно оголив мелкие резцы, и суетливо, как заяц, задвигал челюстями, прожевывая.

Христоня скосился на него:

– Оголодал?

– А то что ж... Жenuшка напекла.

– А и жрать ты здоров! Череву у тебя, стало быть, как у борова. – Он повернулся к Григорию и каким-то сердитым и жалующимся голосом продолжал: – Жрет, нечистый дух, неподобно! Куда он столько пихает? Приглядываюсь к нему эти дни, и вроде ажник страшно: сам, стал быть, небольшой, а уж лопают, как на пропасть.

– Свое ем, стараюсь. К вечеру съешь барана, а утром захочешь рано. Мы всякий фрукт потребляем, нам все полезно, что в рот полезло.

Аникушка похихатывал и мигал Григорию на досадливо плевавшего Христоню.

– Петро Пантелеев, ночевку где делаешь? Вишь, коняшки-то поподбились! – крикнул Томилин.

Его поддержал Меркулов:

– Ночевать пора. Солнце садится.

Петро махнул плетью:

– Заночуем в Ключах. А может, и до Кумылги потянем.

В черную курчавую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул Томилину:

– Выслуживается перед Алферовым, сука! Спешит...

Кто-то, подстригая Меркулова, из озорства окорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бородавку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому, смешно, – это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут:

– А ты не выслуживаешься?

– Чем это?

– Бороду под генерала подстриг. Небось, думаешь, как обрезал под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь?

– Дурак, черт! Ты ему всерьез, а он гнет.

За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирьером Андриюшка Кашулин встретил сотню у крайнего двора.

– Наш взвод – за мною! Первому – вот три двора, второму – по левой стороне, третьему – вон этот двор, где колодезь, и ишо четыре сподряд.

Петро подъехал к нему:

– Ничего не слышал? Спрашивал?

– Ими тут и не воняет. А вот медов, парень, тут до черта. У одной старухи триста колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколом!

– Но-но, не дури! А то я расколю! – Петро нахмурился, тронул коня плетью.

Разместились. Убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов, на ольхах прошлогодней порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том о сем и разошлись спать.

Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылженской сотню догнал нарочный. Петро вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий:

– Приказ?

– Ага!

– Чего пишут?

– Дела... Сотню велят сдать. Всех моих одногодков отзывают, формируют в Казанке Двадцать восьмой полк. Батареицев – тоже, и пулеметчиков.

– А остальным куда ж?

– А вот тут прописано: «В Арженовской поступить в распоряжение командира Двадцать второго полка. Двигаться безотлагательно». Ишь ты! «Безотлагательно»!

Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь.

– Трогай! – крикнул Петро.

Сотня рванулась, пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылженской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу. Решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру.

– Пойдем на плац.

Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его:

– Уйди, Митрий. Хочу с братом погутарить.

– Эт-то можно. – Митька понимающе улыбнулся, отстал.

Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью.

– Чудно все-таки: отъехали от дома сто верст, а народ уж другой. Гутарят не так, как у нас, и постройки другого порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой

крышей, как часовня. У нас таких нету. И вот, – он указал на ближний богатый курень, – завалинка тоже обметана тесом: чтоб дерево не гнило, так, что ли?

– Оставь. – Петро сморщился. – Не об этом ты гутаришь... погоди, давай станем к плетню. Люди глядят.

На них любопытствующе поглядывали шедшие с плаца бабы и казаки. Старик в синей распоясанной рубашке и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем приостановился:

– Днюете?

– Хотим передневать.

– Овесец коням есть?

– Есть трошки, – отозвался Петро.

– А то зайдите ко мне, всыплю мерки две.

– Спаси Христос, дедушка!

– Богу святому... Заходи. Вон мой курень, зеленой жестью крытый.

– Ты об чем хочешь толковать? – нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий.

– Обо всем. – Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный ус. – Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся...

Неосознанная враждебность к брату, ужалившая было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалкой Петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся обращением «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку – огрубел лицом, сказал:

– Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехали: один – в одну сторону, другой – в другую, как под лемешом. Чертова жизнь, и время страшное! Один другого уж не угадывает... Вот ты, – круто перевел он разговор, – ты вот – брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня... Правду говорю? – И сам себе ответил: – Правду. Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным... Ты, Гришатка, доси себя не нашел.

– А ты нашел? – спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.

– Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду.

– Хо? – обозленную выжал Григорий улыбку.

– Не буду!.. – Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный. – Меня к красным арканам не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не хочу, не буду! Да ить как сказать... Незачем мне к ним, не по дороге!

– Бросай этот разговор, – устало попросил Григорий. Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом.

У ворот Петро, приотставая, спросил:

– Ты скажи, я знать буду... скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?

– Наверяд... Не знаю.

Григорий ответил вяло, неохотно. Петро вздохнул, но расспрашивать перестал. Ушел он взволнованный, осунувшийся. И ему и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти. Так над буераком по кособокому склону скользит, вьется гладкая, выстриженная козыми копытами тропка и вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезанная, – нет дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком.

...На следующий день Петро увел назад, в Вешенскую, половину сотни. Оставшийся молодняк под командой Григория двинулся на Арженовскую.

С утра нещадно пекло солнце. В буром мареве кипятилась степь. Позади голубели лиловые отроги прихоперских гор, шафранным разливом лежали пески. Под всадниками шагом

качались потные лошади. Лица казаков побурели, выцвели от солнца. Подушки седел, стремяна, металлические части уздечек накалились так, что рукой не тронуть. В лесу и то не осталось прохлады – парная висела духота, и крепко пахло дождем.

Густая тоска полонила Григория. Весь день он покачивался в седле, несвязно думая о будущем; как горошины стеклянного мониста, перебирал в уме Петровы слова, горько нудился. Терпкий бражный привкус полыни жег губы, дорога дымилась зноем. Навзничь под солнцем лежала золотисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветры, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль.

К вечеру прозрачная мгла затянула солнце. Небо вылиняло, посерело. На западе грузные появились облака. Они стояли недвижно, прикасаясь обвислыми концами к невнятной, тонко выпрявленной нити горизонта. Потом, гонимые ветром, грозно поплыли, раздражающе низко волоча бурые хвосты, сахарно белея округлыми вершинами.

Отряд вторично пересек речку Кумылгу, втиснулся под купол тополевого леса. Листья под ветром рябили молочно-голубой изнанкой, согласно басовито шелестели. Где-то по ту сторону Хопра из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю косой дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги.

Ночевали на хуторе, небольшом и пустынном. Григорий убрал коня, пошел на пасеку. Хозяин, престарелый курчавый казак, выбирая из бороды засетившихся пчел, встревоженно говорил Григорию:

– Вот эту колодку надесь купил. Перевозил сюда, и детва отчегой-то вся померла. Видишь, тянут пчелы. – Остановившись около долбленного улья, он указал на лётку: пчелы беспрестанно вытаскивали на лазок трупки детвы, слетали с ними, глухо жужжа.

Хозяин жалостливо щурил рыжие глаза, огорченно чмокал губами. Ходил он порывисто, резко и угловато размахивая руками. Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спешащими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним на пчельнике, где размеренно и слаженно крупнейший коллектив пчел вел медлительную мудрую работу. Григорий присматривался к нему с легким чувством недоброжелательства. Чувство это непроизвольно порождает состряпанный из порывов пожилой широкоплечий казак, говоривший скрипуче и быстро:

– Нонешний год взятка хороша. Чабор цвел здорово, несли с него. Рамошные – способней улья. Завожу вот...

Григорий пил чай с густым, тянким, как клей, медом. Мед сладко пахнул чабрецом, тропицей, луговым цветом. Чай разливала дочь хозяина – высокая красивая жалмерка. Муж ее ушел с красными, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие неяркие губы. Она тянулась рукой к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные курчавые волосы под мышкой. Он не раз встречал ее щупающий, любознательный взгляд, и даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку.

– Я вам в горнице постелю, – после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто между прочим сказала невнятно и быстро: – Я под сараем ляжу... Душно в куренях, блохи кусают...

Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и незахватанным запахом свежести. На ее тонкой и смуглой руке Григорий прозорева до рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусала ему губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать в горницу, но она его удержала.

– Пусти, любушка, пусти, моя ягодка! – упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться.

– Полежи ишо чудок... Полежи!

– Да ить увидют! Гля, скоро рассвет!

– Ну и нехай!

– А отец?

– Батяня знает.

– Как знает? – Григорий удивленно подрожал бровью.

– А так...

– Вот так голос! Откель же он знает?

– Он, видишь... он вчера мне сказал: дескать, ежели будет офицер приставать, переспи с ним, примолви его, а то за Гераську коней заберут либо ишо чего... Муж-то, Герасим мой, с красными...

– Во-о-он как! – Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен.

Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула:

– Мой-то разлюбезный не такой, как ты...

– А какой же он? – заинтересовался Григорий, потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба.

– Никудышный... квёлый... – Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы. – Я с ним безо всякой сладости жила... Негож он по бабьему делу...

Чужая, детски наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза.

Сквозь камышовую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падучая звезда, оставив на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закричала матерка, с любовной сипотцой отозвался селезень.

Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его – сложный запах чабрецевого меда, пота и тепла.

Через два часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд, – кивнул головой проходившей в курень хозяйской дочери. Она наклонила голову, тепля в углах тонких неярко окрашенных губ улыбку и невнятную горечь сожаления.

По проулку ехал Григорий, оглядываясь. Проулок полудугой огибал двор, где он ночевал, и он видел, как пригретая им казачка смотрела через плетни ему вслед, поворачивая голову, щитком выставив над глазами узкую загорелую ладонь. Григорий с неожиданно ворохнувшейся тоской оглядывался, пытался представить себе выражение ее лица, всю ее – и не мог. Он видел только, что голова казачки в белом платке тихо поворачивается, следя глазами за ним. Так поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдающего за медлительным кружным походом солнца.

Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенской на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую.

– Почему отсылаете назад? – спросил Михаил станичного писаря.

– Получено распоряжение из Вёшек, – неохотно ответил тот.

Оказалось, что Мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого как единственного

кормильца в семье назначить в атарщики. К вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил.

В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил:

– Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын! Мать твою жалко, а то бы... Ступай!

По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за полтора верста ходьбы ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти поставленное лицо матери и впервые замеченную им прядь седина на ее голове.

К югу от станицы Каргинской, на двадцать восемь верст в длину и шесть в ширину, разлеглась целинная, извеку не паханная заповедная степь. Кус земли во многие тысячи десятин был отведен под попас станичных жеребцов, потому и назван – отводом. Ежегодно на Егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен, выводили атарщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была выстроена посреди отвода конюшня с летними открытыми станками на восемнадцать жеребцов, с рубленой казармой около для атарщиков, смотрителя и ветеринарного фельдшера. Казаки Вешенского юрта пригоняли маток-кобылиц, фельдшер со смотрителем следили при приеме маток, чтоб ростом каждая была не меньше двух аршин и возрастом не моложе четырех лет. Здоровых отбивали в косяки штук по сорок. Каждый жеребец уводил свой косяк в степь, ревниво соблюдая кобылиц.

Мишка ехал на единственной в его хозяйстве кобыле. Мать, провожая его, утирая завеской слезы, говорила:

– Огуляется, может, кобылка-то... Ты уж блюди ее, не заезживай. Ишо одну лошадь – край надо!

В полдень за парным маревом, струившимся поверх ложбины, увидел Мишка железную крышу казармы, изгородь, серую от непогоды тесовую крышу конюшни. Он заторопил кобылу: выправившись на гребень, отчетливо увидел постройки и молочный разлив травы за ними. Далеко-далеко на востоке гнедым пятном темнел косяк лошадей, бежавших к пруду; в стороне от них рысил верховой атарщик – игрушечный человек, приклеенный к игрушечному коньку.

Въехав во двор, Мишка спешился, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из атарщиков, невысокий веснушчатый казак.

– Кого надо? – недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы.

– Мне бы до смотрителя.

– Струкова? Нету, весь вышел. Сазонов, помочник ихний, тут. Вторая дверь с левой руки... А на что понадобился? Ты откель?

– В атарщики к вам.

– Пихают абы кого...

Бормоча, он пошел к выходу. Веревоочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, атарщик махнул плетью, уже миролюбиво сказал:

– У нас, братушка, служба чижелая. Иной раз по двое суток с коня не слазишь.

Мишка глядел на его нераспрявленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака вырисовывалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги атарщика развеселили Мишку. «Будто он сорок лет верхом на бочонке сидел», – подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку.

Сазонов принял нового атарщика величественно и равнодушно.

Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр Атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить Кошевого на довольствие, вместе с ним вышел на крыльцо, накаленное белым застойным зноем.

– Неуков учить умеешь? Объезживал?

– Не доводилось, – чистосердечно признался Мишка и сразу заметил, как посоловевшее от жары лицо смотрителя оживилось, струей прошло по нему недовольство.

Почесывая потную спину, выгибая могучие лопатки, смотритель тупо глядел Мишке меж глаз:

– Арканом можешь накидывать?

– Могу.

– А коней жалеешь?

– Жалею.

– Они – как люди, немые только. Жалей, – приказал он и, беспричинно свирепея, крикнул: – Жалеть, а не то что – арапником!

Лицо его на минуту стало и осмысленным и живым, но сейчас же оживление исчезло, твердой корой тупого равнодушия поросла каждая черта.

– Женатый?

– Никак нет.

– Вот и дурак! Женился бы, – обрадованно подхватил смотритель.

Он выжидающе помолчал, с минуту глядел на распаханную грудину степи, потом, зевая, пошел в дом. Больше за месяц службы в атарщиках Мишка не слышал от него ни единого слова.

Всего на отводе было пятьдесят пять жеребцов. На каждого атарщика приходилось по два, по три косяка. Мишке поручили большой косяк, водимый могучим старым жеребцом Бахарем, и еще один, поменьше, насчитывавший около двадцати маток, с жеребцом по кличке Банальный. Смотритель призвал атарщика Солдатова Илью, одного из самых расторопных и бесстрашных, поручил ему:

– Вот новый атарщик, Кошевой Михаил с Татарского хутора. Укажи ему косяки Банального и Бахара, аркан ему дай. Жить будет в вашей будке. Указывай ему. Ступайте.

Солдатов молча закурил, кивнул Мишке:

– Пойдем.

На крыльце спросил, указывая глазами на сомлевшую под солнцем Мишкину кобыленку:

– Твоя животина?

– Моя.

– Сжеребая?

– Нету.

– С Бахарем случи. Он у нас Королёвского завода, полумесок с англичанином. Ай да и резвен!.. Ну садись.

Ехали рядом. Лошади по колено брели в траве. Казарма и конюшня остались далеко позади. Впереди, повитая нежнейшим голубым куравом, величественно безмолвствовала степь. В зените, за прядью опаловых облачков, томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат. Справа, за туманно очерченной впадиной лога, жемчужно-улыбчиво белела полоска Жирова пруда. А кругом – насколько хватал глаз – зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте – недосыгаем и сказочен – сизый грудастый курган.

Травы от корня зеленели густо и темно, вершинки просвечивали на солнце, отливали медянкой. Лохматился невызревший султанистый ковыль, круговинами шла по нему вихрастая имурка, пырей жадно стремился к солнцу, вытягивая обзерненную головку. Местами слепо и цепко прижимался к земле низкорослый железняк, изредка промереженный шалфеем, и вновь половодьем расстилался взявший засилье ковыль, сменяясь разноцветьем: овсягом, желтой сурепкой, молочаем, чингиской – травой суровой, однолюбой, вытеснявшей с занятой площади все остальные травы.

Казаки ехали молча. Мишка испытывал давно не веданное им чувство покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием. Спутник его просто спал в седле, клонясь к конской гриве, сложив на луке веснушчатые руки словно перед принятием причастия.

Из-под ног взвился стрепет, потянул над балкой, искрясь на солнце белым пером. Приминая травы, с юга поплыл ветерок, с утра, может быть, бороздивший Азовское море.

Через полчаса наехали на косяк, пасшийся возле Осинового пруда. Солдатов проснулся, потягиваясь в седле, лениво сказал:

– Ломакина Пантелюшки косяк. Что-то его не видно.

– Как жеребца кличут? – спросил Мишка, любясь светло-рыжим длинным донцом.

– Фразер. Злой, проклятый! Ишь вылупился как! Повел!

Жеребец двинулся в сторону, и за ним, табунясь, пошли кобылицы.

Мишка принял отведенные ему косяки и сложил свои пожитки в полевой будке. До него в будке жили трое: Солдатов, Ломакин и наемный косячник – немолодой молчаливый казак Туроверов. Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал:

– По праву должен ты службу на своей коняке несть, но ежели на ней изо дня в день мотаться – поставишь на постав. А ты пусти ее в косяк, чужую заседлай и меняй их почаще.

На Мишкиных глазах он отбил от косяка одну матку и, рассказавшись, привычно и ловко накинул на нее аркан. Оседлал ее Мишкиным седлом, подвел, дрожащую, приседающую на задние ноги, к нему.

– Садись. Она, видно, неука, черт! Садись же! – крикнул он сердито, правой рукой с силой натягивая поводья, левой сжимая кобылицын раздувающийся храп. – Ты с ними помягче. Это на конюшне зыкнешь на жеребца: «К одной!» – он и жмется к одной стороне станка, а тут не балуйся! Бахаря особливо опасайся, близко не подъезжай, зашибет, – говорил он, держась за стремя и любовно лапая переступавшую с ноги на ногу кобылку за тугое атласно-черное вымя.

III

Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной, растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или сидя дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как, пасомые ветром, странствуют по небу косяки опушенных изморозной белью туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе, вдали от людей, ему даже нравилась. Но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, проснулся невнятный страх. «Там люди свою и чужую судьбу решают, а я кобылок пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет», – трезвея, думал он. Но в сознании сочился и другой, ленивый нашепот: «Пускай там воюют, там смерть, а тут – приволье, трава да небо. Там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело до остальных?..» Мысли стали ревниво точить покорную Мишкину успокоенность. Это погнало его к людям, и он уже чаще, нежели в первые дни, искал встреч с Солдатовым, гулявшим со своими косяками в районе Дударова пруда, пытался сблизиться с ним.

Солдатов тягот одиночества, видимо, не чувствовал. Он редко ночевал в будке и почти всегда – с косяком или возле пруда. Жил он звериной жизнью, сам промышлял себе пищу и делал это необычайно искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. Однажды увидел Мишка, как он плел лесу из конского волоса. Заинтересовавшись, спросил:

– На что плетешь?

– На рыбу.

– А где она?

- В пруду. Караси.
- За глиста ловишь?
- За хлеб и за глиста.
- Варишь?

– Подвялю и ем. На вот, – радушно угостил он, вынимая из кармана шаровар вяленого карася.

Как-то, следуя за косяком, напал Мишка на пойманного в силки стрепета. Возле стояло мастерски сделанное чучело стрепета и лежали искусно скрытые в траве силки, привязанные к колышку. Стрепета Солдатов в этот же вечер изжарил в земле, предварительно засыпав ее раскаленными углями. Он пригласил вечерять и Мишку. Раздирая пахучее мясо, попросил:

- В другой раз не сымай, а то мне дело попортишь.
- Ты как попал сюда? – спросил Мишка.
- Кормилец я.

Солдатов помолчал и вдруг спросил:

- Слухай, а правду брешут ребята, что ты из красных?

Кошевой, не ожидавший такого вопроса, смутился:

- Нет... Ну, как сказать... Ну да, уходил я к ним... Поймали.

– Зачем уходил? Чего искал? – суровая глазами, тихо спросил Солдатов и стал жевать медленней.

Они сидели возле огня на гребне сухой балки. Кизяки чадно дымили, из-под золы просился наружу огонек. Сзади сухим теплом и запахом вянувшей полыни дышала им в спины ночь. Вороное небо полосовали падучие звезды. Падала одна, и потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнутом.

Мишка настороженно всматривался в лицо Солдатова, тронутое позолотой огневого отсвета, ответил:

- Правбв хотел добиться.
- Кому? – с живостью встрепенулся Солдатов.
- Народу.
- Каких же правбв? Ты расскажи.

Голос Солдатова стал глух и вкрадчив.

Мишка секунду колебался – ему подумалось, что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего лица. Решившись, заговорил:

– Равноправия всем – вот каких! Не должно быть ни панов, ни холопов. Понятно? Этому делу решку наведут.

- Думаешь, не осилют кадеты?
- Ну да – нет.

– Ты, значит, вон чего хотел... – Солдатов перевел дух и вдруг встал. – Ты, сукин сын, казачество жидам в кабалу хотел отдать?! – крикнул он пронзительно, зло. – Ты... в зубы тебе, и все вы такие-то, хотите искоренить нас?! Ага, вон как!.. Чтоб по степу жида фабрик своих понастроили? Чтоб нас от земли отнять?!

Мишка, пораженный, медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что Солдатов хочет его ударить. Он отшатнулся, и тот, видя, что Мишка испуганно ступил назад, – размахнулся. Мишка поймал его за руку на лету; сжимая в запястье, обещающе посоветовал:

- Ты, дядя, оставь, а то я тебя помету! Ты чего расшумелся?

Они стояли в темноте друг против друга. Огонь, затоптанный ногами, погас; лишь с краю ало дымился откатившийся в сторону кизяк. Солдатов левой рукой схватился за ворот Мишкиной рубахи; стягивая его в кулаке, поднимая, пытался освободить правую руку.

– За грудки не берись! – хрипел Мишка, ворочая сильной шеей. – Не берись, говорю! Побью, слышишь?..

– Не-е-ет, ты... побью... погоди! – задыхался Солдатов.

Мишка, освободившись, с силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправалял рубаху.

Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он вперемешку с матюками выкрикивал:

– Донесу!.. Зараз же к смотрителю! Я тебя упеку!.. Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как Подтелкова, тебя надо! На сук! На шворку!

«Донесет... набрешет... Посадят в тюрьму... На фронт не пошлют – значит, к своим не перебегу. Пропал!» Мишка похолодел, и мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полый водой от реки. «Убить его! Задушу сейчас... Иначе нельзя...» И уже подчиняясь этому мгновенному решению, мысль подыскивала оправдания: «Скажу, что кинулся меня бить... Я его за глотку... нечаянно, мол... Сгоряча...»

Дрожа, шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над ними смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали да пот проступил на спине и под мышками.

– Ну, погоди... Слышишь? Солдатов, стой. Не шуми. Ты же первый затеял.

И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза:

– Мало ли чего не бывает между друзьями... Я ж тебя не вдарил... А ты – за грудки... Ну, чего я такого сказал? И все это надо доказывать?.. Ежли обидел, ты прости... ей-богу! Ну?

Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого:

– Крутишь хвостом, как гад! Ну да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею... А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу! Сволочь ты! Жидам ты продался, а я не жалею таких людей, какие за деньги продаются.

Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя Солдатов лица его не видел, как не видел и того, что кулаки Мишкины сжимаются и пухнут от прилива крови.

Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром.

В эту ночь над отводом прошла гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль.

Небо нахмарилось. Молния наискось распахала взбугренную черноземно-черную тучу, долго копила тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг, Кошевой увидел ставшую в полнеба бурю тучу, по краям обугленно-черную, грозную, и на земле, распростертой под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, с силой пригнул его к луке седла. С минуту черная полоскалась тишина, потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что лошадь Кошевого присела и, вспрянув, завилась в дыбки. Лошади в косяке затопотали. Со всей силой натягивая поводья, Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей:

– Стой!.. Тррр!..

При сахарно-белом зигзаге молнии, продолжительно скользившем по гребням тучи, Кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватили воздух, некованные копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и стали неподалеку. Не

зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, Кошевой вновь еще громче зыкнул:

– Стойте! А ну!

И опять – уже в темноте – с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел. В круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и Кошевой, как кинутый пращей, вылетел из седла. Он уцелел только чудом: косяк основной массой шел правее его, поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то матка вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намете, и слышал характерный, отличимый похрап Бахаря.

В будку пришел Кошевой только перед светом.

IV

15 мая атаман Всевеликого войска Донского Краснов, сопровождаемый председателем совета управляющих, управляющим отделом иностранных дел генерал-майором Африканом Богаевским, генерал-квартирмейстером Донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым, прибыл на пароходе в станицу Манычскую.

Хозяева земли донской и кубанской скучаяще смотрели с палубы, как причаливает к пристани пароход, как суетятся матросы и, закипая, идет от сходней бурая волна. Потом сошли на берег, провожаемые сотнями глаз собравшейся у пристани толпы.

Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево – все синее. Дон – и тот отливает не присушей ему голубизной, как вогнутое зеркало, отражая снежные вершины туч.

Запахами солнца, сохлых солончаков и сопревшей прошлогодней травы налитан ветер. Толпа шуршит говором. Генералы, встреченные местными властями, едут на плац.

В доме станичного атамана через час началось совещание представителей донского правительства и Добровольческой армии. От Добровольческой армии прибыли генералы Деникин и Алексеев в сопровождении начштаба армии генерала Романовского, полковников Ряснянского и Эвальда.

Встреча дышала холодком. Краснов держался с тяжелым достоинством. Алексеев, поздоровавшись с присутствующими, присел к столу; подперев сухими белыми ладонями обвислые щеки, безучастно закрыл глаза. Его укачала езда в автомобиле. Он как бы ссохся от старости и пережитых потрясений. Излучины сухого рта трагически опущены, голубые, иссеченные прожилками веки припухли и тяжки. Множество мельчайших морщинок веером рассыпалось к вискам. Пальцы, плотно прижавшие дряблую кожу щек, концами зарывались в старчески желтоватые, коротко стриженные волосы. Полковник Ряснянский бережно расстилал на столе похрустывающую карту, ему помогал Кислов. Романовский стоял около, придерживая ногтем мизинца угол карты. Богаевский прислонился к невысокому окну, с щемящей жалостью вглядываясь в бесконечно усталое лицо Алексева. Оно белело, как гипсовая маска. «Как он постарел! Ужасно как постарел!» – мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексева влажных миндалевидных глаз. Еще не успели присутствовавшие усесться за стол, как Деникин, обращаясь к Краснову, заговорил, взволнованно и резко:

– Прежде чем открыть совещание, я должен заявить вам: нас крайне удивляет то обстоятельство, что вы в диспозиции, отданной для овладения Батайском, указываете, что в правой колонне у вас действует немецкий батальон и батарея. Должен признаться, что факт подобного сотрудничества для меня более чем странен... Вы позволите узнать, чем руководствовались вы, входя в сношение с врагами родины – с бесчестными врагами! – и пользуясь их помощью? Вы, разумеется, осведомлены о том, что союзники готовы оказать нам поддержку?.. Добро-

вольческая армия расценивает союз с немцами как измену делу восстановления России. Действия донского правительства находят такую же оценку и в широких союзнических кругах. Прошу вас объясниться.

Деникин, зло изогнув бровь, ждал ответа. Только благодаря выдержке и присущей ему светскости Краснов хранил внешнее спокойствие; но негодование все же осиливало: под седящими усами нервный тик подергивал и искажал рот. Очень спокойно и очень учтиво Краснов отвечал:

– Когда на карту ставится участь всего дела, не брезгают помощью и бывших врагов. И потом вообще правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемое, имеет право действовать самостоятельно, сообразно интересам казачества, кои призвано защищать.

При этих словах Алексеев открыл глаза и, видимо, с большим напряжением пытался слушать внимательно. Краснов глянул на Богаевского, нервически крутившего выхолщенный в стрелку ус, и продолжал:

– В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзникам... Но я полагаю, вам известен тот факт, что Добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами?..

– Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка! Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы, но – пользоваться поддержкой их войск!.. – Деникин сердито вздернул плечами.

Краснов, кончая речь, вскользь, осторожно, но решительно дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте.

Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин умно перевел разговор на вопросы слияния Донской и Добровольческой армий и установления единого командования. Но предшествовавшая этому стычка, по сути, послужила началом дальнейшего, непрестанно развивавшегося между ними обострения отношений, окончательно порванных к моменту ухода Краснова от власти.

Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын, для того чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим стратегическим центром и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками.

Прозвучал короткий разговор:

– ... Вам не говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын.

– Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего я должен освободить кубанцев.

– Да, но все же взятие Царицына – кардинальнейшая задача. Правительство Войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство.

– Повторяю: бросить кубанцев я не могу.

– Только при условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования.

Алексеев неодобрительно пожевал губами.

– Немыслимо! Кубанцы не пойдут из пределов области, не окончательно очищенной от большевиков, а в Добровольческой армии две с половиной тысячи штыков, причем третья часть – вне строя: раненые и больные.

За скромным обедом вяло перебрасывались незначущими замечаниями – было ясно, что соглашение достигнуто не будет. Полковник Ряснянский рассказал о каком-то веселом полуанекдотическом подвиге одного из марковцев, и постепенно, под совместным действием обеда и веселого рассказа, напряженность рассеялась. Но когда после обеда, закуривая, разошлись

по горнице, Деникин, тронув плечо Романовского, указал острыми прищуренными глазами на Краснова, шепнул:

– Наполеон областного масштаба... Неумный человек, знаете ли...

Улыбнувшись, Романовский быстро ответил:

– Княжить и владеть хочется... Бригадный генерал упивается монаршей властью. Помоему, он лишен чувства юмора...

Разъехались, преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между Добрармией и донским правительством резко ухудшаются, ухудшение достигает апогея, когда командованию Добрармии становится известным содержание письма Краснова, адресованного германскому императору Вильгельму. Раненые добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеивались над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки, в кругу своих презрительно называли его «хузяином», а Всевеликое войско Донское переименовали во «всевеселое». В ответ на это донские самостийники величали их «странствующими музыкантами», «правителями без территории». Кто-то из «великих» в Добровольческой армии едко сказал про донское правительство: «Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели». На это последовал ответ генерала Денисова: «Если правительство Дона – проститутка, то Добровольческая армия – кот, живущий на средства этой проститутки».

Ответ был намеком на зависимость Добровольческой армии от Дона, делившего с ней получаемое из Германии боевое снаряжение.

Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом Добровольческой армии, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, служили в бесчисленных тыловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ранениях лежали в лазаретах... Все наиболее мужественные гибли в боях, от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы революции и честь и совесть, по-шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности бурных дней. Это были еще те нетронутые, залежалые кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пакостную разновидность так называемой «мыслящей интеллигенции», облаченной в военный мундир: от большевиков бежали, к белым не пристали, понемножку жили, спорили о судьбах России, зарабатывали детишкам на молочишко и страстно желали конца войны.

Для них было все равно, кто бы ни правил страной, – Краснов ли, немцы ли, или большевики, – лишь бы конец.

А события грохотали изо дня в день. В Сибири – чехословацкий мятеж, на Украине – Махно, возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов. Кавказ, Мурманск, Архангельск... Вся Россия стянута обручами огня... Вся Россия – в муках великого предела...

В июне по Дону широко, как восточные ветры, загуляли слухи, будто чехословаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге восточный фронт для наступления на германские войска. Немцы на Украине неохотно стали пропускать офицеров, пробиравшихся из России под знамена Добровольческой армии.

Германское командование, встревоженное слухами об образовании «восточного фронта», послало на Дон своих представителей. 10 июля в Новочеркасск прибыли майоры германской армии – фон Кокенхаузен, фон Стефани и фон Шлейниц.

В этот же день они были приняты во дворце атаманом Красновым в присутствии генерала Богаевского.

Майор Кокенхаузен, упомянув о том, как германское командование всеми силами, вплоть до вооруженного вмешательства, помогало Великому войску Донскому в борьбе с большевиками и восстановлении границ, спросил, как будет реагировать правительство Дона, если чехословаки начнут против немцев военные действия. Краснов уверил его, что казачество

будет строго блюсти нейтралитет и, разумеется, не позволит сделать Дон ареной войны. Майор фон Стефани выразил пожелание, чтобы ответ атамана был закреплен в письменной форме.

На этом аудиенция кончилась, а на другой день Краснов написал следующее письмо германскому императору:

Ваше императорское и королевское величество! Податель сего письма, атаман Зимовой станицы (посланник) Всевеликого Войска Донского при дворе вашего императорского величества, и его товарищи уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать ваше императорское величество, могущественного монарха великой Германии, и передать нижеследующее:

Два месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей Родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой, и ныне земля Всевеликого Войска Донского на $\frac{9}{10}$ освобождена от диких красногвардейских банд. Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск вашего императорского величества создалась тишина на юге Войска, и мною приготовлен корпус казаков для поддержания порядка внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является Донское войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами астраханского и кубанского войска, полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем чтобы по очищении земли астраханского войска и Кубанской области от большевиков составить прочное государственное образование на началах федерации из Всевеликого Войска Донского, астраханского войска с калмыками Ставропольской губ., кубанского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство, в полном согласии со Всевеликим Войском Донским, решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений, и обязалось держать полный нейтралитет. Атаман Зимовой станицы нашей при дворе вашего императорского величества уполномочен мною:

Просить ваше императорское величество признать права Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних кубанских, астраханских и терских войск и Северного Кавказа – право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского союза.

Просить признать ваше императорское величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить ваше величество содействовать о присоединении к Войску, по стратегическим соображениям, городов Камышина и Царицына, Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска

Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной Армии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения Войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены советской Россией.

Просить ваше императорское величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска Донского оружейный, оружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза не забудут дружеские услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время Тридцатилетней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна, а в 1807–1813 годы донские казаки со своим атаманом, графом Платовым, боролись за свободу Германии, и теперь, почти за 3 ¹/₂ года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши, казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и стойкость своих войск и ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона.

Всевеликое Войско Донское обязуется за услугу вашего императорского величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман астраханского войска князь Тундутов, и кубанское правительство, а по присоединении – и остальные части Доно-Кавказского союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской империи права преимущественного вывоза избытков, за удовлетворением местных потребностей, хлеба – зерном и мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий, скота и лошадей; вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг с соответственным запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности.

Кроме того, правительство Всевеликого Войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленности и торговли, в частности, по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.

К вашему императорскому величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу

простить прямому моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств.

Уважающий вас Петр Краснов, донской атаман, генерал-майор.

15 июля письмо было рассмотрено советом управляющих отделами, и, несмотря на то что отношение к нему было весьма сдержанное, а со стороны Богаевского и еще нескольких членов правительства даже явно отрицательное, Краснов не замедлил вручить его атаману Зимовой станицы в Берлине герцогу Лихтенбергскому, который выехал с ним в Киев, а оттуда, с генералом Черячукиным, в Германию.

Не без ведома Богаевского письмо до отправления было перепечатано в иностранном отделе, копии его широко пошли по рукам и, снабженные соответствующими комментариями, загуляли по казачьим частям и станицам. Письмо послужило могущественным средством пропаганды. Всё громче стали говорить о том, что Краснов продан немцам. На фронтах бугрились волнения.

А в это время немцы, окрыленные успехами, возили русского генерала Черячукина под Париж, и он, вместе с чинами немецкого генерального штаба, наблюдал внушительнейшее действие крупновской тяжелой артиллерии, разгром англо-французских войск.

V

Во время ледяного похода¹ Евгений Листницкий был ранен два раза: первый раз – в бою за овладение станицей Усть-Лабинской, второй – при штурме Екатеринодара. Обе раны были незначительны, и он вновь возвращался в строй. Но в мае, когда Добровольческая армия стала в районе Новочеркасска на короткий отдых, Листницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как ни велико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя времени на переезды.

Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу, ротмистр Горчаков. Горчаков предложил пожить у него:

– Детей у меня нет, а жена будет рада видеть тебя. Она ведь знакома с тобой по моим письмам.

В полдень, по-летнему горячий и белый, они подъехали к сутулому особнячку на одной из привокзальных улиц.

– Вот моя резиденция в прошлом, – торопливо шагая, оглядываясь на Листницкого, говорил черноусый голенастый Горчаков.

Его выпуклые черные до синевы глаза влажнели от счастливого волнения, мясистый, как у грека, нос клонила книзу улыбка. Широко шагая, сухо шурша вытертыми леями защитных бриджей, он вошел в дом, сразу наполнив комнату прогорклым запахом солдатчины.

– Где Леля? Ольга Николаевна где? – крикнул спешившей из кухни улыбающейся прислуге. – В саду? Идем туда.

В саду под яблонями – тигровые, пятнистые тени, пахнет пчельником, выгоревшей землей. У Листницкого в стеклах пенсне шрапнелью дробятся, преломляясь, солнечные лучи. Где-то на путях ненасытно и густо ревет паровоз; разрывая этот однотонный стонущий рев, Горчаков зовет:

– Леля! Леля! Где же ты?

Из боковой аллеи, мелькая за кустами шиповника, вынырнула высокая, в палевом платье, женщина.

На секунду она стала, испуганным прекрасным жестом прижав к груди ладони, а потом, с криком вытянув руки, помчалась к ним. Она бежала так быстро, что Листницкий видел только

¹ Ледяным походом корниловцы называли свое отступление от Ростова к Кубани.

бившиеся под юбкой округло-выпуклые чаши колен, узкие носки туфель да золотую пыльцу волос, взвихренную над откинутой головой.

Вытягиваясь на носках, кинув на плечи мужу изогнутые, розовые от солнца, оголенные руки она целовала его в пыльные щеки, нос, глаза, губы, черную от солнца и ветра шею. Короткие чмокающие звуки поцелуев сыпались пулеметными очередями.

Листницкий протирал пенсне, вдыхая за клубившийся вокруг него запах вербены, и улыбался, – сам сознавая это, – глупейшей, туго натянутой улыбкой.

Когда взрыв радости поутих, пережеженный секундным перебоем, – Горчаков бережно, но решительно разжал сомкнувшиеся на его шее пальцы жены и, обняв ее за плечи, легонько повернул в сторону:

– Леля... мой друг Листницкий.

– Ах, Листницкий! Очень рада! Мне о вас муж... – Она, задыхаясь, бегло скользила по нему смеющимися, незрячими от счастья глазами.

Они шли рядом. Волосатая рука Горчакова с неопрятными ногтями и заусенцами охватом лежала на девичьей талии жены. Листницкий, шагая, косился на эту руку, вдыхал запах вербены и нагретого солнцем женского тела и чувствовал себя по-детски глубоко несчастным, кем-то несправедливо и тяжело обиженным. Он посматривал на розовую мочку крохотного ушка, прикрытого прядью золотисто-ржавых волос, на шелковистую кожу щеки, находившейся от него на расстоянии аршина; глаза его по-ящеринному скользили к вырезу на груди, и он видел невысокую холмистую молочно-желтую грудь и пониклый коричневый сосок. Изредка Горчакова обращала на него светлые голубоватые глаза, взгляд их был ласков, дружелюбен, но боль, легкая и досадливая, точила Листницкого, когда эти же глаза, устремляясь на черное лицо Горчакова, лучили совсем иной свет...

Только за обедом Листницкий как следует рассмотрел хозяйку. И в ладной фигуре ее и в лице была та гаснущая, ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая тридцатую осень. Но в насмешливых холодноватых глазах, в движениях она еще хранила нерастраченный запас молодости. Лицо ее с мягкими, привлекательными в своей неправильности чертами было, пожалуй, самое заурядное. Лишь один контраст резко бросался в глаза: тонкие смугло-красные растрескавшиеся, жаркие губы, какие бывают только у черноволосых женщин юга, и просвечивающая розовым кожа щек, белесые брови. Она охотно смеялась, но в улыбке, оголявшей густые мелкие, как срезанные, зубы, сквозило что-то заученное. Низкий голос ее был глуховат и беден оттенками. Листницкому, два месяца не выдававшему женщин, за исключением измызганных сестер, она казалась преувеличенно красивой. Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал невпопад и вскоре, сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату.

...И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые. После Листницкий благоговейно перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, избегала его. Из комнаты, смежной с их спальней, перевели его в угловую под предлогом ремонта, о котором Горчаков говорил, покусывая ус, храня на помолодевшем, выбритом лице улыбку серьезность. Листницкий сознавал, что стесняет друга, но перейти к знакомым почему-то не хотел. Целыми днями валялся он под яблоней, в оранжево-пыльном холодильнике, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной, оберточной бумаге, засыпая тяжким, неосвежающим сном. Истомную скуку делил с ним красавец пойнтер, шоколадной в белых крапинах масти. Он молчаливо ревновал хозяина к жене, уходил к Листницкому, ложился, вздыхая, с ним рядом, и тот, поглаживая его, прочувственно шептал:

Мечтай, мечтай... Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами...

С любовью перебирал все сохранившиеся в памяти, пахучие и густые, как чабрецовый мед, бунинские строки. И опять засыпал...

Ольга Николаевна чутьем, присущим лишь женщине, распознала тяготившие его настроения. Сдержанная прежде, она стала еще сдержанней в обращении с ним. Как-то, возвращаясь вечером из городского сада, они шли вдвоем (Горчакова остановили у выхода знакомые офицеры Марковского полка), Листницкий вел Ольгу Николаевну под руку, тревожил ее, крепко прижимая ее локоть к себе.

– Что вы так смотрите? – спросила она, улыбаясь.

В низком голосе ее Листницкому почудились игривые, вызывающие нотки. Только поэтому он и рискнул козырнуть меланхолической строфой (эти дни одолевала его поэзия, чужая певучая боль).

Он нагнул голову, улыбаясь, шепнул:

И странной близостью закованный,
Смотрю на темную вуаль –
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Она тихонько высвободила свою руку, сказала повеселевшим голосом:

– Евгений Николаевич, я в достаточной степени... Я не могу не видеть того, как вы ко мне относитесь... И вам не стыдно? Подождите, подождите! Я вас представляла немножко... иным... Так вот, давайте оставим это. А то как-то и недосказанно и нечестно... Я – плохой объект для подобных экспериментов. Приволокнуться вам захотелось? Ну, так вот давайте-ка дружеских отношений не порывать, а глупости оставьте. Я ведь не «прекрасная незнакомка». Понятно? Идет? Давайте вашу руку!

Листницкий разыграл благородное негодование, но под конец, не выдержав роли, расхохотался вслед за ней. После того как их догнал Горчаков, Ольга Николаевна оживилась и повеселела еще больше, но Листницкий приумолк и до самого дома мысленно жестоко издевался над собой.

Ольга Николаевна, при всем своем уме, искренне верила в то, что после объяснения они станут друзьями. Наружно Листницкий поддерживал в ней эту уверенность, но в душе почти возненавидел ее, и через несколько дней, поймав себя на мучительном выискивании отрицательных черт в характере и наружности Ольги, понял, что стоит на грани подлинного, большого чувства.

Иссякали дни отпуска, оставляя в сознании невыбродивший осадок. Добровольческая армия, пополненная и отдохнувшая, готовилась наносить удары; центробежные силы влекли ее на Кубань. Вскоре Горчаков и Листницкий покинули Новочеркасск.

Ольга провожала их. Черное шелковое платье подчеркивало ее неяркую красоту. Она улыбалась заплаканными глазами, некрасиво опухшие губы придавали ее лицу волнующе-трогательное, детское выражение. Такой она и запечатлелась в памяти Листницкого. И он долго и бережно хранил в воспоминаниях, среди крови и грязи пережитого, ее светлый немеркнувший образ, облекая его ореолом недосыгаемости и поклонения.

В июне Добровольческая армия уже втянулась в бои. В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренности. Его выволокли из цепи. Час спустя он, лежа на фурманке, истекая кровью и мочой, говорил Листницкому:

– Я не думаю, что умру... Мне вот сейчас операцию сделают... Хлороформу, говорят, нет... Не стоит умирать. Как ты думаешь?... Но на всякий случай... Находясь в твердом уме и так далее... Евгений, не оставь Лелю... Ни у меня, ни у нее родных нет. Ты – честный и славный. Женись на ней... Не хочешь?..

Он смотрел на Евгения с мольбой и ненавистью, щеки его, синевшие небритой порослью, дрожали. Он бережно прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, слизывая с губ розовый пот:

– Обещаешь? Не покинь ее... если тебя вот так же не изукрасят... русские солдатики. Обещаешь? Молчишь? Она хорошая женщина. – И весь нехорошо покривился. – Тургеневская женщина... Теперь таких нет... Молчишь?

– Обещаю.

– Ну и ступай к черту!.. Прощай!..

Он вцепился в руку Листницкого дрожливым пожатием, а потом неловким, отчаянным движением потянул его к себе и, еще больше бледнея от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к руке Листницкого запекшимися губами. Торопясь, накрывая полую шинели голову, отвернулся, и потрясенный Листницкий мельком увидел холодную дрожь на его губах, серую влажную полоску на щеке.

Через два дня Горчаков умер. Спустя еще один день Листницкого отправили в Тихорецкую с тяжелым ранением левой руки и бедра.

Под Кореновской завязался длительный и упорный бой. Листницкий со своим полком два раза ходил в атаку и контратаку. В третий раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного: «Не ложись!», «Орлята, вперед!», «Вперед – задело Корнилова!» – он бежал по нескошенной пшенице тяжелой трусой, щитком держа в левой руке над головой саперную лопатку, правой сжимая винтовку. Один раз пуля с звенящим визгом скользнула по покату желобу лопатки, и Листницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радости: «Мимо!» А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно сильным ударом. Он выронил лопатку и сгоряча, с незащищенной головой, пробежал еще десяток саженей. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец в форму, тяжело вливалась в каждый сустав. Прилег в борозду, несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего, пуля куснула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием.

В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. Две недели лежал, терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще тридцать томительных суток в лазарете. Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки... Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Листницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеяло порожний рукав рубашки. Она словно нехотя выпрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Листницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ее руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белесых волос.

Он был тщательно выбрит, защитный щегольской френч сидел на нем по-прежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил – судорожно шевелился внутри него крохотный забинтованный обрубок руки.

Они вошли в дом. Листницкий заговорил, не садясь:

– Борис перед смертью просил меня... взял с меня обещание, что я вас не оставлю...

– Я знаю.

– Откуда?

– Из его последнего письма...

– Желание его, чтобы мы были вместе... Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с инвалидом... Прошу вас верить... речи о чувствах прозвучали бы сейчас... Но я искренне хочу вашего благополучия.

Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Листницкого ее тронули.

- Я думала об этом... Я согласна.
- Мы уедем в имение к моему отцу.
- Хорошо.
- Остальное можно оформить после?
- Да.

Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки и, когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки.

Любовь и тяжелое плотское желание влекли Листницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце... И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные чувства, которых никогда и ни к кому не питал, – быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Однако сказка одним крылом касалась действительно: не только половое влечение, но и еще какая-то незримая нить привязывали его к этой, случайно ставшей поперек жизни, женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью: что им, изуродованным и выбитым из строя, по-прежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт – «мне все можно». Даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе, как плод, горечь тягчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал исступленно... Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно, одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич и торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть.

Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное.

«... Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожить взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый «народ», над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция, но, право, сейчас это кажется мне дико-бессмысленным... Краснов не ладит с Деникиным; а внутри обоих лагерей – взаимное подсиживание, интриги, гнусь и пакость. Иногда мне становится жутко. Что же будет? Еду домой обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, со стороны наблюдая за борьбой. Из меня уже не солдат, а калека, физический и духовный. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба и стремление обрести «тихую пристань»», – грустно-иронической припиской заканчивал он письмо.

Отъезд из Новочеркасска был назначен через неделю. За несколько дней до отъезда Листницкий окончательно переселился к Горчаковой. После ночи, сблизившей их, Ольга как-то осунулась, потускнела. Она и после уступала его домоганиям, но создавшимся положением мучительно тяготилась и в душе была оскорблена. Не знал Листницкий или не хотел знать, что разной мерой меряют связывающую их любовь и одной – ненависть.

До отъезда Евгений думал об Аксинье нехотя, урывками. Он заслонялся от мыслей о ней, как рукой от солнца. Но, помимо его воли, все настойчивее – полосками света – стали просачиваться, тревожить его воспоминания об этой связи. Одно время он было подумал: «Не буду прерывать с ней отношений. Она согласится». Но чувство порядочности осилило – решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться.

На исходе четвертого дня приехали в Ягодное. Старый пан встретил молодых за версту от имения. Еще издали увидел Евгений, как отец тяжело перенес ногу через сиденье беговых дрожек, снял шапку.

– Выехали встретить дорогих гостей. Ну, дайте-ка взглянуть на вас... – забасил он, неловко обнимая невестку, тычась ей в щеки зеленовато-седыми прокуренными пучками усов.

– Садитесь к нам, папа! Кучер, трогай! А, дед Сашка, здравствуй! Живой? На мое место садитесь, папа, я вот рядом с кучером устраюсь.

Старик сел рядом с Ольгой, платком вытер усы и сдержанно, с кажушейся молодцеватостью оглядел сына:

- Ну как, дружок?
- Очень уж я рад вам!
- Инвалид, говоришь?
- Что же делать? Инвалид.

Отец с напускной подтянутостью поглядывал на Евгения, пытаясь за суровостью скрыть выражение сострадания, избегая глядеть на холостой, заткнутый за пояс зеленый рукав мундира.

- Ничего, привык. – Евгений пошевелил плечом.
- Конечно, привыкнешь, – заторопился старик, – лишь бы голова была цела. Ведь со щитом... а? Или как? Со щитом, говорю, прибыл. И даже со взятой в плен прекрасной невольницей?

Евгений любовался изысканной, немного устаревшей галантностью отца, глазами спрашивал у Ольги: «Ну как старик?» – и по оживленной улыбке, по теплу, согревшему ее глаза, без слов понял, что отец ей понравился.

Серые полурысистые кони шибко несли коляску под изволок. С бугра завиднелись постройки, зеленая разметная грива левады, дом, белевший стенами, заслонившие окна клены.

- Хорошо-то как! Ах, хорошо! – оживилась Ольга.

От двора, высоко вскидываясь, неслись черные борзые. Они окружили коляску. Сзади дед Сашка щелкнул одну, прыгавшую в дрожки, кнутом, крикнул запальчиво:

- Под колесо лезешь, дьява-а-ал! Прочь!

Евгений сидел спиной к лошадям; они изредка пофыркивали, мелкие брызги ветер относил назад, кропил ими его шею.

Он улыбался, глядя на отца, Ольгу, дорогу, устланную колосьями, на бугорок, медленно поднимавшийся, заслонявший дальний гребень и горизонт.

- Глушь какая! И как тихо...

Ольга улыбкой провожала безмолвно летевших над дорогой грачей, убежавшие назад кусты полынка и донника.

- Нас вышли встречать. – Пан пощурил глаза.
- Кто?
- Дворовые.

Евгений, оглянувшись, еще не различая лиц стоявших, почувствовал в одной из женщин Аксиныю, густо побагровел. Он ждал, что лицо Аксиныи будет отмечено волнением, но когда коляска, резво шурша, поравнялась с воротами и он с дрожью в сердце взглянул направо и увидел Аксиныю, – его поразило лицо ее, сдержанно-веселое, улыбающееся. У него словно тяжесть свалилась с плеч, он успокоился, кивнул на приветствие.

– Какая порочная красота! Кто это?.. Вызывающе красива, не правда ли? – Ольга восхищенными глазами указала на Аксиныю.

Но к Евгению вернулось мужество, спокойно и холодно согласился:

- Да, красивая женщина. Это наша горничная.

Присутствие Ольги на все в доме налагало свой отпечаток. Старый пан, прежде целыми днями ходивший по дому в ночной рубаше и теплых вязаных подштанниках, приказал извлечь из сундуков пропахшие нафталином сюртуки и генеральские, навывпуск, брюки. Прежде неряшливый во всем, что касалось его персоны, теперь кричал на Аксиныю за какую-нибудь крохотную складку на выглаженном белье и делал страшные глаза, когда она подавала ему утром невычищенные сапоги. Он посвежел, приятно удивляя глаз Евгения глянцем неизменно выбритых щек.

Аксинья, словно предчувствуя плохое, старалась угодить молодой хозяйке, была заискивающе покорна и не в меру услужлива. Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше приготовить обед, и превосходила самое себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок. Даже деда Сашки, опустившегося и резко постаревшего, коснулось влияние происходивших в Ягодном перемен. Как-то встретил его пан около крыльца, оглядел всего с ног до головы и зловеще поманил пальцем.

– Ты что же это, сукин сын? А? – Пан страшно поворочал глазами. – В каком у тебя виде штаны, а?

– А в каком? – дерзко ответил дед Сашка, но сам был слегка смущен и необычным допросом, и дрожащим голосом хозяина.

– В доме молодая женщина, а ты, хам, ты меня в гроб вогнать хочешь? Почему мотню не застегиваешь, козел вонючий? Ну?!

Грязные пальцы деда Сашки коснулись ширинки, пробежались по длинному ряду ядреных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки. Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул ногой, да так, что на остроносом, старинного фасона сапоге подошва ощерилась, и гаркнул:

– На конюшню! Марш! Лукерью заставлю кипятком тебя ошпарить! Грязь соскобли с себя, конское быдло!

Евгений отдыхал, бродил с ружьем по суходолу, около скошенных просяников стрелял куропаток. Одно тяготило его: вопрос с Аксиньей. Но однажды вечером отец позвал Евгения к себе; опасливо поглядывая на дверь и избегая встретиться глазами, заговорил:

– Я, видишь ли... Ты простишь мне вмешательство в твои личные дела. Но я хочу знать, как ты думаешь поступить с Аксиньей.

Торопливостью, с какой стал закуривать, Евгений выдал себя. Он опять, как в день приезда, вспыхнул и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше.

– Не знаю... Просто не знаю... – чистосердечно признался он.

Старик веско сказал:

– А я знаю. Иди и сейчас же поговори с ней. Предложи ей денег, отступное, – тут он улыбнулся в кончик уса, – попроси уехать. Мы найдем еще кого-нибудь.

Евгений сейчас же пошел в людскую.

Аксинья, стоя спиной к двери, месила тесто. На спине ее, с заметным желобом посредине, шевелились лопатки. На смуглых полных руках, с засученными по локоть рукавами, играли мускулы. Евгений посмотрел на ее шею в крупных кольцах пушистых волос, сказал:

– Я попрошу вас, Аксинья, на минутку.

Она живо повернулась, стараясь придать своему просиявшему лицу выражение услужливости и равнодушия. Но Евгений заметил, как дрожали ее пальцы, опуская рукава.

– Я сейчас. – Метнула пугливый взгляд на кухарку и, не в силах побороть радости, пошла к Евгению со счастливой просящей улыбкой.

На крыльце он сказал ей:

– Пойдем в сад. Поговорить надо.

– Пойдемте, – обрадованно и покорно согласилась она, думая, что это – начало прежних отношений.

По дороге Евгений вполголоса спросил:

– Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

Она, улыбаясь в темноте, схватила его руку, но он рывком освободил ее, и Аксинья поняла все. Остановилась:

– Что вы хотели, Евгений Николаевич? Дальше я не пойду.

– Хорошо. Мы можем поговорить и здесь. Нас никто не слышит... – Евгений спешил, путался в незримой сети слов. – Ты должна понять меня. Теперь я не могу с тобой, как

раньше... Я не могу жить с тобой... Ты понимаешь? Ведь теперь я женат и как честный человек не могу делать подлость... Долг совести не позволяет... – говорил он, мучительно стыдясь своих выпранных слов.

Ночь только что пришла с темного востока.

На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба. На гумне при фонарях молотили «за погоду» – там повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие; зубарь, неустанно выкармливавший прожорливую молотилку, кричал осипло и счастливо: «Давай! Давай! Дава-а-ай!» В саду зрела тишина. Пахло крапивой, пшеницей, росой.

Аксинья молчала.

– Что ты скажешь? Что же ты молчишь, Аксинья?

– Мне нечего говорить.

– Я тебе дам денег. Ты должна уехать отсюда. Я думаю, ты согласишься... Мне будет тяжело видеть тебя постоянно.

– Через неделю мне месяц кончается. Можно дослужить?

– Конечно, конечно!

Аксинья помолчала, потом как-то боком, несмело, как побитая, подвинулась к Евгению, сказала:

– Ну что же, уйду... Напоследок аль не пожалеешь? Меня нужда такой бессовестной сделала... Измучилась я одна... Ты не суди, Женя.

Голос ее был звучен и сух. Евгений тщетно пытался разобраться, серьезно она говорит или шутит.

– Чего ты хочешь?

Он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку...

Через пять минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, обзеленные в коленях сочной травой.

Всходя на крыльцо, оглянулся. В людской, в желтом просвете окна, виднелась статная фигура Аксиньи, – закинув руки, Аксинья поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась...

VI

Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго принимал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные сияли звезды; месяц – казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил скупое, белое; просторный Млечный Шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, налитая все той же горечью всеильной полыни, тосковала о прохладе. Забились гордые звездные шляхи, не помятые ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гнила на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками; месяц – обсохлым солончаком, а по степи – сушь, сгибающая трава, и по ней белый неумолчный перепелиный бой да металлический звон кузнециков...

А днями – зной, духота, мглистое курево. На выцветшей голубени неба – нещадное солнце, бестучье да коричневые стальные полудужья распростертых крыльев коршуна. По степи слепяще, неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава; коршун, кренясь, плывет в голубом – внизу, по траве, неслышно скользит его огромная тень.

Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки. Степь горяча, но мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо. Даже курган синее на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне...

Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу... Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!

У него маленькая сухая змеиная голова. Уши мелкие и подвижны. Грудные мускулы развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он – кровный донец. Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли иномеси, и порода видна во всем. Кличка его Мальбрук.

На водопое он, защищая свою матку, бился с другим, более сильным и старым жеребцом, и тот сильно зашиб ему левую переднюю ногу, несмотря на то что жеребцы на попасе всегда раскованы. Они вставали на дыбы, грызли друг друга, били передними ногами, рвали один на другом кожу...

Атарщика возле не было – он спал в степи, подставив солнцу спину и раскоряченные ноги в пыльных накаленных сапогах. Противник свалил Мальбрука на землю, потом гнал далеко-далеко от косяка и, оставив там истекающего кровью, занял оба косяка, увел вдоль по обочине Топкой балки.

Раненого жеребца поставили на конюшню, фельдшер залечил ему ушибленную ногу. А на шестой день Мишка Кошевой, приехавший к смотрителю с докладом, стал свидетелем того, как Мальбрук, управляемый могучим инстинктом продолжателя рода, перегрыз чумбур, выскочил из станка и, захватив пасшихся возле казармы стреноженных кобылиц, на которых ездили атарщики, смотритель и фельдшер, погнал их в степь – сначала рысью, потом начал покусывать отстававших, торопить. Атарщики и смотритель выскочили из казармы, слышали только, как на кобылицах звучно лопались живцы².

– Спéшил нас, проклятый сын!..

Смотритель выругался, но смотрел вслед удалявшимся лошадям не без тайного одобрения.

В полдень Мальбрук привел и поставил лошадей на водопой. Маток отняли у него пешие атарщики, а самого, заседлав, увел Мишка в степь и пустил в прежний косяк.

За два месяца службы в атарщиках Кошевой внимательно изучил жизнь лошадей на отводе; изучил и проникся глубоким уважением к их уму и нелюдскому благородству. На его глазах покрывались матки; и этот извечный акт, совершаемый в первобытных условиях, был так естественно-целомудрен и прост, что невольно рождал в уме Кошевого противопоставления не в пользу людей. Но много было в отношениях лошадей и людского. Например, замечал Мишка, что стареющий жеребец Бахарь, неукротимо-злой и грубоватый в обращении с кобылицами, выделял одну рыжую четырехлетнюю красавицу, с широкой прозвездью во лбу и горячими глазами. Он всегда был около нее встревожен и волнующе резок, всегда обнюхивал ее с особенным, сдержанным и страстным похрапом. Он любил на стоянке класть свою злую голову на круп любимой кобылицы и дремать так подолгу. Мишка смотрел на него со стороны, видел, как под тонкой кожей жеребца вяло играют связки мускулов, и ему казалось, что Бахарь любит эту кобылицу по-старчески безнадежно-крепко и грустно.

² Живцы – пути, треноги.

Служил Кошевой исправно. Видно, слух о его усердии дошел до станичного атамана, и в первых числах августа смотритель получил приказ откомандировать Кошевого в распоряжение станичного правления.

Мишка собрался в два счета, сдал казенную экипировку, в тот же день навечер выехал домой. Кобылку свою торопил неустанно. На закате солнца выбрался уже за Каргин и там на гребне догнал подводу, ехавшую в направлении Вешенской.

Возница-украинец погонял упаренных сытых коней. В задке рессорных дрожек полулежал статный широкоплечий мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе. Некоторое время Мишка ехал позади, посматривая на вислые плечи человека в шляпе, подрагивавшие от толчков, на белую запыленную полоску воротничка. У пассажира возле ног лежали желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто. Нюх Мишки остро щекотал незнакомый запах сигары. «Чин какой-нибудь едет в станицу», – подумал Мишка, ровняя кобылу с дрожками. Он искоса глянул под поля шляпы – и полураскрыл рот, чувствуя, как от страха и великого изумления спину его проворно осыпают мурашки: Степан Астахов полулежал на дрожках, нетерпеливо жуя черный ошкamelок сигары, шуря лихие светлые глаза. Не веря себе, Мишка еще раз оглядел знакомое, странно изменившееся лицо хуторянина, окончательно убедился, что рессоры качают подлинно живого Степана, и, запотев от волнения, кашлянул:

– Извиняюсь, господин, вы не Астахов будете?

Человек на дрожках кивком бросил шляпу на лоб; поворачиваясь, поднял на Мишку глаза.

– Да, Астахов. А что? Вы разве... Пстой, да ведь ты – Кошевой? – Он привстал и, улыбаясь из-под подстриженных каштановых усов одними губами, храня в глазах, во всем постаревшем лице неприступную суровость, растерянно и обрадованно протянул руку. – Кошевой? Михаил? Вот как увиделись!.. Очень рад...

– Как же? Как же так? – Мишка бросил поводья, недоуменно развел руками. – Гутарили, что убили тебя. Гляжу: Астахов...

Мишка зацвел улыбкой, заерзал, засуетился в седле, но внешность Степана, чистый глухой выговор его смутили; он изменил обращение и после в разговоре все время называл его на «вы», смутно ощущая какую-то невидимую грань, разделявшую их.

Между ними завязался разговор. Лошади шли шагом. На западе пышно цвел закат, по небу лазоревые шли в ночь тучки. Сбоку от дороги в зарослях проса оглушительно надсаживался перепел, пыльная тишина оседала над степью, изжившей к вечеру дневную суету и гомон. На развилке чукаринской и кружилинской дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни; над ним отвесно ниспадала скопившаяся громада кирпично-бурых кучевых облаков.

– Откель же вы взялись, Степан Андреич? – радостно допытывался Мишка.

– Из Германии. Выбрался вот на родину.

– Как же наши казаки гутарили: мол, убили на наших глазах Степана?

Степан отвечал сдержанно, ровно, словно тяготясь расспросами:

– Ранили в двух местах, а казаки... Что казаки? Бросили они меня... Попал в плен... Немцы вылечили, послали на работу...

– Писем от вас не было вроде...

– Писать некому. – Степан бросил окурок и сейчас же закурил вторую сигару.

– А жене? Супруга ваша живая-здоровая.

– Я ведь с ней не жил, – известно, кажется.

Голос Степана звучал сухо, ни одной теплой нотки не вкралось в него. Упоминание о жене его не взволновало.

– Что же, не скучали в чужой стороне? – жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку.

– Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось. – Помолчав, добавил: – Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло – бросил все, поехал.

Степан, в первый раз смягчив черствые излучины в углах глаз, улыбнулся.

– А у нас тут, видите, какая расторопья идет?.. Воюем промеж себя.

– Да-а-а... слышал.

– Вы каким же путем ехали?

– Из Франции, пароходом из Марселя – город такой – до Новороссийска.

– Мобилизуют и вас?

– Наверное... Что нового в хуторе?

– Да рази всего расскажешь? Много новья.

– Дом мой целый?

– Ветер его колышет...

– Соседи? Мелеховы ребята живые?

– Живые.

– Про бывшую нашу жену слух имеете?

– Там же она, в Ягодном.

– А Григорий... живет с ней?

– Нет, он с законной. С Аксиньей вашей разошелся...

– Вот как... Не знал.

С минуту молчали. Кошевой продолжал жадно разглядывать Степана. Сказал одобрительно и с почтением:

– Видать, хорошо вам жилось, Степан Андреич. Одежа у вас справная, как у благородного.

– Там все чисто одеваются. – Степан поморщился, тронул плечо возницы: – Ну, потопрапливайся.

Возница невесело махнул кнутом, усталые лошади недружно дернули барки. Дрожки, мягко шепелявя колесами, закачались на выбоинах, и Степан, кончая разговор, поворачиваясь к Мишке спиной, спросил:

– На хутор едешь?

– Нет, в станицу.

На развилке Мишка свернул вправо, привстал на стремянах:

– Прощайте покуда, Степан Андреич!

Тот примял запыленное поле шляпы тяжелой связкой пальцев, ответил холодно, четко, как нерусский, выговаривая каждый слог:

– Будьте здоровы!

VII

По линии Филоново – Поворино выравнивался фронт. Красные стягивали силы, копили кулак для удара. Казаки вяло развивали наступление; испытывая острую нехватку огнеприпасов, не стремились выходить за пределы области. На Филоновском фронте боевые операции проходили с переменным успехом. В августе установилось относительное затишье, и казаки, приходившие с фронта в краткосрочные отпуска, говорили о том, что к осени надо ждать перемирия.

А в это время в тылу, по станицам и хуторам, шла уборка хлебов. Не хватало рабочих рук. Старики и бабы не управлялись с работой; к тому же мешали постоянные назначения в обывательские подводы, доставлявшие фронту боеприпасы и продовольствие.

С хутора Татарского почти ежедневно по наряду отправлялось к Вешенской пять-шесть подвод, в Вешенской грузили их ящиками с патронами и снарядами, направляли до передаточного пункта в хуторе Андроповском, а иногда, по недостатку, загоняли и дальше, в прихоперские хутора.

Хутор жил суетливо, но глухо. К далекому фронту тянулись все мыслями, с тревогой и болью ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор: в каждом курене, на каждом гумне об этом только и говорили. Приехал казак, давно похороненный, записанный лишь у старух, да и то «за упокой», о ком уже почти забыли. Это ли не диво?

Степан остановился у Аникушкиной жены, снес в хату свои пожитки и, пока хозяйка собирала ему вечерять, пошел к своему дому. Тяжелым хозяйским шагом долго мерял увитый белым светом месяца баз, заходил под навесы полуразрушенных сараев, оглядывал дом, качал сохи плетней... У Аникушкиной бабы давно уж остыла на столе яичница, а Степан все еще осматривал свое затравевшее поместье, похрустывая пальцами, и что-то невнятно, как косноязычный, бормотал.

К нему вечером же наведались казаки – посмотреть и порасспросить о жизни в плену. В Аникушкину горницу полно набилось баб и мальчат. Они стояли плотной стеной, слушали Степановы рассказы, чернели провалами раскрытых ртов. Степан говорил неохотно, постаревшего лица его ни разу не освежила улыбка. Видно было, что круто, до корня погнула его жизнь, изменила и переделала.

Наутро – Степан еще спал в горнице – пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней путины, каким надолго пропитывается дорожный человек.

Степан проснулся, слышно было: чиркал спичкой, закуривая.

– Дозволишь взойтить? – спросил Пантелей Прокофьевич и, словно к начальству являясь, суетливо оправил складки топорщившейся новой рубахи, только ради случая надетой на него Ильиничной.

– Входите.

Степан одевался, пыхая окурком сигары, от дыма жмуря заспанный глаз. Пантелей Прокофьевич шагнул через порог не без робости и, пораженный изменившимся Степановым лицом и металлическими частями его шелковых подтяжек, остановился, лодочкой вытянул черную ладонь:

– Здравствуй, сосед! Живого видеть...

– Здравствуйте!

Степан одел подтяжками вислые могучие плечи, пошевелил ими и с достоинством вложил свою ладонь в шершавую руку старика. Бегло оглядели друг друга. В глазах Степана сине попыхивали искры неприязни, в косых выпуклых глазах Мелехова – почтение и легкая, с иронией, удивленность.

– Постарел ты, Степа... постарел, милушка.

– Да, постарел.

– Тебя-то уж отпоминали, как Гришку моего... – сказал и досадливо осекся: не ко времени вспомнил. Попробовал исправить обмолвку: – Слава богу, живой-здоровый пришел... Слава те господи! Гришку так же отпоминали, а он, как Лазарь, очухался и с тем пошел. Уж двое детишков имеет, и жена его, Наталья, слава богу, справилась. Ладная бабочка... Ну а ты, чадушко, как?

– Благодарю.

– К соседу на гости-то придешь? Приходи, честь сделай, погутарим.

Степан отказался, но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался. Умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы, на вопрос старика: «Куда ж чуб задевал? Аль прожил?» – улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич был заискивающе-ласков, так, что Степан невольно подумал: «За старую обиду старается...»

Ильинична, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне, торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его пиджак, воротничок, серебряную часовую цепку, прическу, переглядывались с плохо скрытыми, изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья румяная; конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза:

– Ах, соседushка, а я вас и не призначила. Вы и на казака стали непохожие.

Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки – на стол, тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил:

– Спробуй. Собственного заводу. Серник поднесешь – синим огнем дышит, ей-бо!

Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но, выпив, начал быстро хмелеть, помягчел.

– Жениться теперь тебе надо, соседushка.

– Что вы! А старую куда дену?

– Старая... Что же – старая... Старой жене, думаешь, износу не будет? Жена – что кобыла: до той поры ездись, покуда зубы в роте держатся... Мы тебе молодую сыщем.

– Жизнь наша стала путаная... Не до женитьбов... Отпуск имею себе на полторы недели, а там являться в правление и, небось, на фронт, – говорил Степан, хмелея и понемногу утрачивая заграничный свой выговор.

Вскоре ушел, провожаемый Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки.

– Как он образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! Как акцизный али ишо какой благородного звания человек... Прихожу, а он встает и сверх исподней рубахи надевает на плечи шелковые шлейки с бляхами, ей-бо! Как коню, подхватило ему спину и грудья. Это как? К чему-нибудь это пристроено? Он все одно как и ученый человек теперь, – восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом-солью не побрезговал и, зла не помня, пришел.

Из разговоров выяснилось, что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет, вызвав этим у Пантелея Прокофьевича тягучие размышления и невольное уважение.

– При деньгах он, видно, – говорил Пантелей Прокофьевич после его ухода, – капитал имеет, стерва. Из плену казаки приходят в мамушкиной одеже, а он ишь выщелкнулся... Человека убил либо украл деньги-то.

Первые дни Степан отлеживался в Аникушкиной хате, изредка показываясь на улице. Соседи наблюдали за ним, караулили каждое его движение, даже Аникушкину жену пробовали расспрашивать, что-де собирается Степан делать. Но та поджимала губы, скрытничала, отделиваясь незнанием.

Толки густо пошли по хутору после того, как Аникушкина баба наняла у Мелеховых лошадь и рано утром в субботу выехала неизвестно куда. Один Пантелей Прокофьевич почуял, в чем дело. «За Аксиньей поедет», – подмигнул он Ильиничне, запрягая в тарантас хромую кобылу. И не ошибся. Со Степановым наказом поехала баба в Ягодное: «Выпросишь у Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды?»

Степан в этот день невовратно потерял выдержку и спокойствие, до вечера ходил по хутору, долго сидел на крыльце моховского дома с Сергеем Платоновичем и Цацей, рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге через Францию и море. Говорил, слушая жалобы Мохова, и все время жадно поглядывал на часы...

Хозяйка вернулась из Ягодного в сумерках. Собирая вечерять в летней стряпке, рассказывала, что Аксинья испугалась неожиданной вести, много расспрашивала о нем, но вернуться отказалась наотрез.

– Нужды ей нету ворочаться, живет барыней. Гладкая стала, лицо белое. Тяжелую работу не видит. Чего ишо надо? Так одета она – и не вздумаешь. Будний день, а на ней юбка, как снег, и ручки чистые-пречистые... – говорила, глотая завистливые вздохи.

У Степана розовели скулы, в опущенных светлых глазах возгорались и тухли злобно-тоскливые огоньки. Ложкой черпал из обливной чашки кислое молоко, удерживая дрожь в руке. Вопросы ронял с обдуманной неторопливостью:

- Говоришь, хвалилась Аксинья житьем?
- Где же там! Так жить каждая душа не против.
- Обо мне спрашивала?
- А то как же? Побелела вся, как сказала, что вы пришли.

Повечеряв, вышел Степан на затравевший баз.

Быстротеком пришли и истухли короткие августовские сумерки. В сыроватой прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок, слышались резкие голоса. Под желтым пятнистым месяцем в обычной сутолоке бились люди: веяли намолоченные за день вороха хлеба, перевозили в амбары зерно. Горячим терпким духом свежемолоченной пшеницы и мякинной пыли обволакивало хутор. Где-то около плаца стукотела паровая молотилка, брехали собаки. На дальних гумнах тягучая сучилась песня. От Дона тянуло пресной сыростью.

Степан прислонился к плетню и долго глядел на текучее стремя Дона, видневшееся через улицу, на огнистую извилистую стежку, наискось протоптанную месяцем. Мелкая курчавая рябь вилась по течению. На той стороне Дона дремотные покоились тополя. Тоска тихо и властно обняла Степана.

На заре шел дождь, но после восхода солнца тучи разошлись, и часа через два только свернувшиеся над колесниками комки присохшей грязи напоминали о непогоде.

Утром Степан прикатил в Ягодное. Волнуясь, привязал лошадь у ворот, резво-увалисто пошел в людскую.

Просторный, в выгоревшей траве, двор пустовал. Около конюшни в навозе рылись куры. На упавшем плетне топтался вороной, как грач, петух. Склика кур, он делал вид, что клует ползавших по плетню красных божьих коровок. Зажиревшие борзые собаки лежали в холодке возле каретника. Шесть черно-пегих куцых щенят, повалив мать, молоденькую первощенную суку, упираясь ножонками, сосали, оттягивая вялые серые сосцы. На теневой стороне железной крыши барского дома глянцем лежала роса.

Степан, внимательно оглядываясь, вошел в людскую, спросил у толстой кухарки:

- Могу я видеть Аксинью?
- А вы кто такие? – заинтересовалась та, вытирая потное рябое лицо завеской.
- Вам это не нужно. Аксинья где будет?
- У пана. Обождите.

Степан присел, жестом страшной усталости положил на колени шляпу. Кухарка совала в печь чугуны, стучала рогаками, не обращая внимания на гостя. В кухне стоял кислый запах свернувшегося творога и хмелин. Мухи черной россыпью покрывали камель печки, стены, обсыпанный мукой стол. Степан, напрягаясь, вслушивался, ждал. Знакомый звук Аксиньиной поступи словно пихнул его с лавки. Он встал, уронив с колен шляпу.

Аксинья вошла, неся стопку тарелок. Лицо ее помертвело, затрепыхались углы пухлых губ. Она остановилась, беспомощно прижимая к груди тарелки, не спуская со Степана напуганных глаз. А потом как-то сорвалась с места, быстро подошла к столу, опорожнила руки.

– Здравствуй!

Степан дышал медленно, глубоко, как во сне, губы его расщепляла напряженная улыбка. Он молча, клонясь вперед, протягивал Аксинье руку.

– В горницу ко мне... – жестом пригласила Аксинья.

Шляпу Степан поднимал как тяжесть; кровь била ему в голову, заволакивало глаза. Как только вошли в Аксиньину комнату и присели, разделенные столиком, Аксинья, облизывая ссохшиеся губы, со стоном спросила:

– Откуда ты взялся?..

Степан неопределенно и неестественно-весело, по-пьяному махнул рукой. С губ его все еще не сходила все та же улыбка радости и боли.

– Из плена... Пришел к тебе, Аксинья...

Он как-то нелепо засуетился, вскочил, достал из кармана небольшой сверточек и, жадно срывая с него тряпку, не владея дрожащими пальцами, извлек серебряные дамские часы-браслет и кольцо с дешевым голубым камешком... Все это он протягивал ей на потной ладони, а Аксинья глаз не сводила с чужого ей лица, исковерканного униженной улыбкой.

– Возьми, тебе берег... Жили вместе...

– На что оно мне? погоди... – шептали Аксиньины помертвевшие губы.

– Возьми... не обижай... Дурость нашу бросать надо...

Заслоняясь рукой, Аксинья встала, отошла к лежанке:

– Говорили, погиб ты...

– А ты бы рада была?

Она не ответила; уже спокойнее разглядывала мужа всего, с головы до ног, бесцельно оправила складки тщательно выглаженной юбки. Заложив руки за спину, сказала:

– Аникушкину бабу ты присылал?.. Говорила, что зовешь к себе... жить...

– Пойдешь? – перебил Степан.

– Нет. – Голос Аксиньи зазвучал сухо. – Нет, не пойду.

– Что так?

– Отвыкла, да и поздновато трошки... Поздно.

– А я вот хочу на хозяйство стать. Из Германии шел – думал, и там жил – об этом не переставал думать... Как же, Аксинья, ты будешь? Григорий бросил... Или ты другого нажила? Слыхал, будто с панским сыном... Правда?

Щеки Аксиньи жгуче, до слез, проступивших под веками отягощенных стыдом глаз, крыла кровь.

– Живу теперь с ним. Верно.

– Я не в укор, – испугался Степан. – Я к тому говорю, что, может, ты свою жизнь не решила? Ему ты ненадолго нужна, баловство... Вот морщины у тебя под глазами... Ведь бросит, надоешь ты ему – прогонит. Куда прислонишься? В холопках не надоело быть? Гляди сама... Я денег принес. Кончится война, справно будем жить. Думал, сойдемся мы. Я за старое позабыть хочу...

– Об чем же ты раньше думал, милый друг Степа? – с веселыми слезами, с дрожью заговорила Аксинья и оторвалась от лежанки, в упор подошла к столу. – Об чем раньше думал, когда жизнь мою молодую в прах затолочил? Ты меня к Гришке пихнул... Ты мне сердце высушил... Да ты помнишь, что со мной сделал?

– Я не считаться пришел... Ты... почему знаешь? Я, может, об этом изболелся весь. Может, я другую жизнь прожил, вспоминая... – Степан долго рассматривал свои выкинутые на стол руки, слова вязал медленно, словно выкорчевывал их изо рта. – Думал об тебе... Сердце

кровью запеклось... День и ночь из ума не шла... Я жил там со вдовой, немкой... богато жил – и бросил... Потянуло домой...

– К тихой жизни поклонило? – яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья. – Хозяйничать хочешь? Небось, детишков хочешь иметь, жену, чтоб стирала на тебя, кормила и поила? – И нехорошо, темно улыбнулась. – Нет уж, спаси Христос! Старая я, морщины вон разглядел... И детей родить разучилась. В любовницах нахожусь, а любовницам их не полагаются... Нужна ли такая-то?

– Шустрая ты стала...

– Уж какая есть.

– Значит – нет?

– Нет, не пойду. Нет.

– Ну, бывай здорова. – Степан встал, ничемно повертел в руках браслет и опять положил его на стол. – Надумаешь, тогда сообщи.

Аксинья провожала его до ворот. Долго глядела, как из-под колес рвется пыль, заволакивает широкие Степановы плечи.

Бороли ее злые слезы. Она редко всхлипывала, смутно думая о том, что не сбылось, – оплакивая свою, вновь по ветру пущенную жизнь. После того как узнала, что Евгению она больше не нужна, услышав о возвращении мужа, решила уйти к нему, чтобы вновь собрать по кусочкам счастье, которого не было... С этим решением ждала Степана. Но увидала его, приниженного, покорного, – и черная гордость, гордость, не позволявшая ей, отверженной, оставаться в Ягодном, встала в ней на дыбы. Неподвластная ей злая воля направляла слова ее и поступки. Вспомнила пережитые обиды, все вспомнила, что перенесла от этого человека, от больших железных рук и, сама не желая разрыва, в душе ужасаясь тому, что делала, задышалась в колючих словах: «Нет, не пойду к тебе. Нет».

Еще раз потянулась взглядом вслед удалявшемуся тарантасу. Степан, помахивая кнутом, скрывался за сиреновой кромкой невысокой придорожной полыни...

На другой день Аксинья, получив расчет, собрала пожитки. Прощаясь с Евгением, всплакнула:

– Не поминайте лихом, Евгений Николаевич.

– Ну что ты, милая!.. Спасибо тебе за все.

Голос его, прикрывая смущение, звучал наигранно-весело.

И ушла. Вечеру была на хуторе Татарском.

Степан встретил Аксинию у ворот.

– Пришла? – спросил он улыбаясь. – Наво все? Можно надежду иметь, что больше не уйдешь?

– Не уйду, – просто ответила Аксинья, со сжавшимся сердцем оглядывая полуразрушенный курень и баз, бурно заросший лебедой и черным бурьяном.

VIII

Неподалеку от станицы Дурновской Вешенский полк в первый раз ввязался в бой с отступавшими частями красноармейцев.

Сотня под командой Григория Мелехова к полудню заняла небольшой, одичало заросший левадами хутор. Григорий спешил казаков в сыроватой тени верб, возле ручья, промывшего через хутор неглубокий яр. Где-то неподалеку из черной хлопкой земли, побулькивая, били родники. Вода была ледениста; ее с жадностью пили казаки, черпая фуражками и потом с довольным побряхтыванием нахлобучивая их на потные головы. Над хутором, сомлевшим от жары, в отвес встало солнце. Земля калилась, схваченная полуденным дымком. Травы и листья верб, обрызганные ядовито-знойными лучами, вяло поникли, а возле ручья в тени верб

тучная копила прохлада, нарядно зеленели лопухи и еще какие-то, вскормленные мочажинной почвой, пышные травы; в небольших заводях желанной девичьей улыбкой сияла ряска; где-то за поворотом щелоктали в воде и хлопали крыльями утки. Лошади, храпя, тянулись к воде, с чавканьем ступая по топкой грязи, рвали из рук поводья и забредали на середину ручья, мутя воду и разыскивая губами струю посвежее. С опущенных губ их жаркий ветер срывал ядренные алмазные капли. Поднялся серный запах взвращенной илистой земли, тины, горький и сладостный дух омытых и сопревших корней верб...

Только что казаки полегли в лопухах с разговорами и куревом – вернулся разъезд. Слово «красные» вмиг вскинуло людей с земли. Затягивали подпруги и опять шли к ручью, наполняли фляжки, пили, и, небось, каждый думал: «То ли придется еще попить такой воды – светлой, как детская слеза, то ли нет...»

По дороге переехали ручей, остановились.

За хутором, по серо-песчаному чернобылистому бугру, в версте расстояния, двигалась неприятельская разведка. Восемь всадников сторожко съезжали к хутору.

– Мы их заберем! Дозволишь? – предложил Митька Коршунов Григорию.

Он кружным путем выехал с полувзводом за хутор; но разведка, обнаружив казаков, повернула обратно.

Час спустя, когда подошли две остальные конные сотни полка, выступили. Разъезды доносили, что красные, силой приблизительно в тысячу штыков, идут им навстречу. Сотни вешенцев потеряли связь с шедшим справа 33-м Еланско-Букановским полком, но все же решили дать бой. Перевалив через бугор, спешили. Коноводы свели лошадей в просторный, ниспадавший к хутору лог. Где-то правее сшиблись разведки. Лихо зачечекал ручной пулемет.

Вскоре показались редкие цепи красных. Григорий развернул свою сотню у вершины лога. Казаки легли на гребне склона, поросшего гривастым мелкокустем. Из-под приземистой дикой яблоньки Григорий глядел в бинокль на далекие цепи противника. Ему отчетливо видно было, как шли первые две цепи, а за ними, между бурными неубранными валками скошенного хлеба, разворачивалась в цепь черная походная колонна. И его и казаков изумило то, что впереди первой цепи на высокой белой лошади ехал всадник, – видимо, командир. И перед второй цепью порознь шли двое. И третью повел командир, а рядом с ним заколыхалось знамя. Полотнище алело на грязно-желтом фоне жнивья крохотной кровавистой каплей.

– У них комиссары попереди! – крикнул один из казаков.

– Во! Вот это геройски! – восхищенно захохотал Митька Коршунов.

– Гляди, ребята! Вот они какие, красные!

Почти вся сотня привстала, перекликаясь. Над глазами щитками от солнца повисли ладони. Разговоры смолкли. И величавая, строгая тишина, предшествующая смерти, покорно и мягко, как облачная тень, легла над степью и логом.

Григорий смотрел назад. За пепельно-сизым островом верб, сбоку от хутора, бугрилась колышущаяся пыль: вторая сотня на рысях шла противнику во фланг. Балка пока маскировала продвижение сотни, но версты через четыре развилом выползала на бугор, и Григорий мысленно определял расстояние и время, когда сотня сможет выровняться с флангом.

– Ложи-и-ись! – скомандовал Григорий, круто поворачиваясь, пряча бинокль в чехол.

Он подошел к своей цепи. Лица казаков, багрово-масленные и черные от жары и пыли, поворачивались к нему. Казаки, переглядываясь, ложились. После команды: «Изготовься!» – хищно заклацали затворы. Григорию сверху видны были одни раскоряченные ноги, верхи фуражек да спины в выдубленных пылью гимнастерках, с мокрыми от пота желобками и лопатками. Казаки расползались, ища прикрытия, выбирая места поудобней. Некоторые попробовали шашками рыть черствую землю.

В это время со стороны красных ветерок на гребне своем принес невнятные звуки пения...

Цепи шли, туго извиваясь, неровно, качко. Тусклые, затерянные в знойном просторе, наплывали оттуда людские голоса.

Григорий почувал, как, сорвавшись, резко, с перебоем стукнуло его сердце... Он слышал и раньше этот стонущий напев, слышал, как пели его мокроусовские матросы в Глубокой, молитвенно сняв бескозырки, возбужденно блестя глазами. В нем вдруг выросло смутное, равносильно страху беспокойство.

– Чего они режут? – встревоженно вертя головой, спросил престарелый казак.

– Вроде как с какой молитвой, – ответил ему другой, лежавший справа.

– Чертячья у них молитва! – улыбнулся Андрей Кашулин; дерзко глядя на Григория, стоявшего возле него, спросил: – Ты, Пантелев, был у них, – небось, знаешь, к чему песню зараз играют? Небось, сам с ними дишканил?

«... владе-еть землей!» – ликующим вскриком взвихрились невнятные от расстояния слова, и вновь тишина расплеснулась над степью. Казаки нехорошо повеселели. Кто-то захотел в середине цепи. Митька Коршунов суетливо заерзал:

– Слышите, эй, вы?! Землей владеть им захотелось!.. – И похабно выругался. – Григорь Пантелев! Дай я вон энтото, что на коне, спёшу! Я вдарю раз?

Не дожидаясь согласия, выстрелил. Пуля побеспокоила всадника. Он спешился, отдал коня, пошел впереди цепи, поблескивая обнаженной шашкой.

Казаки стали постреливать. Красные легли. Григорий приказал пулеметчикам открыть огонь. После двух пулеметных очередей первая цепь поднялась в перебежке. Саженой через десять снова легла. В бинокль Григорий видел, как красноармейцы заработали лопатками, оканываясь. Над ними запорхала сизая пыль, перед цепью выросли крохотные, как возле сурчиных нор, бугорки. Оттуда полыхнули протяжным залпом. Перестрелка возгорелась. Бой грозил стать затяжным. Через час у казаков появился урон: одного из первого взвода пуля сразила насмерть, трое раненых уползли к коноводам в лог. Вторая сотня показалась с фланга, запылила в атаке. Атаку отбили пулеметным огнем. Видно было, как панически скакали назад казаки, грудясь в кучи и рассыпаясь веером. Отступив, сотня выровнялась и без сплошного крика, молчком пошла опять. И опять шквальный пулеметный огонь, как ветер листья, погнал ее обратно.

Но атаки поколебали стойкость красноармейцев – первые цепи смешались, тронулись назад.

Григорий, не прекращая огня, поднял сотню. Казаки пошли, не ложась. Некоторая нерешительность и тягостное недоумение, владевшие ими вначале, как будто исчезли. Бодрое настроение их поддерживала батарея, на рысях прискакавшая на позиции. Первый батарейный взвод, выдвинутый в огневое положение, открыл огонь. Григорий послал коноводам приказ подвести коней. Он готовился к атаке. Возле той яблоньки, откуда он в начале боя наблюдал за красными, снималось с передков третье орудие. Высокий, в узких галифе офицер тенористо, свирепо кричал на замешкавшихся ездových, подбегая к орудию, щелкая по голенищу плетью:

– Отводи! Ну?! Черт вас мордует!..

Наблюдатель со старшим офицером в полуверсте от батареи, спешившись, с кургашка глядели в бинокль на отходившие цепи противника. Телефонисты бегом тянули провод, соединяя батарею с наблюдательным пунктом. Крупные пальцы пожилого есаула – командира батареи – нервно крутили колесико бинокля (на одном из пальцев золотом червонело обручальное кольцо). Он зряшно топтался около первого орудия, отмахиваясь головой от цвенькавших пуль, и при каждом его резком движении сбоку болталась поношенная полевая сумка.

После рыхлого и трескучего гула Григорий проследил место падения пристрельного снаряда, оглянулся: номера, налегая, с хрипом накатывали орудие. Первая шрапнель покрыла ряды неубранной пшеницы, и долго на синем фоне таял раздираемый ветром белый хлопчатый комочек дыма.

Четыре орудия поочередно слали снаряды туда, за поваленные ряды пшеницы, но, сверх Григорьева ожидания, орудийный огонь не внес заметного замешательства в цепи красных, — они отходили неспешно, организованно и уже выпадали из поля зрения сотни, спускаясь за перевал, в балку. Григорий, понявший бессмысленность атаки, все же решил поговорить с командиром батареи. Он увалисто подошел и, касаясь левой рукой спаленного солнцем, порыжелого курчавого кончика уса, дружелюбно улыбнулся:

— Хотел в атаку пойтить.

— Какая там атака! — Есаул норовисто махнул головой, тылом ладони принял стекавшую из-под козырька струйку пота. — Вы видите, как они отходят, сукины дети? Не дадутся! Да и смешно бы было, — ведь у них в этих частях весь начальствующий состав — кадровики-офицеры. Мой товарищ, войсковой старшина Серов — у них...

— Откуда вы знаете? — Григорий недоверчиво сощурился.

— Перебежчики... Прекратить огонь! — скомандовал есаул и, словно оправдываясь, пояснил: — Бесполезно бить, а снарядов мало... Вы — Мелехов? Будем знакомы: Полтавцев. — Он толчком всунул в руку Григория свою потную крупную ладонь и, не задержав в рукопожатье, ловко кинул ее в раскрытое зевло планшетки, достал папиросы. — Закуривайте!

С глухим громом поднялись из лога ездовые. Батарея взялась на передки. Григорий, посадив на коней, повел свою сотню вслед ушедшим за бугор красным.

Красные заняли следующий хутор, но сдали его без сопротивления. Три сотни вешенцев и батарея расположились в нем. Напуганные жители не выходили из домов. Казаки сновали по дворам в поисках съестного. Григорий спешил к стоявшему на отшибе дома, завел во двор, поставил у крыльца коня. Хозяин — длинный пожилой казак — лежал на кровати, со стоном перекачивал по грязной подушке непомерно малую птичью головку.

— Хворый, что ли? — поздоровавшись, улыбнулся Григорий.

— Хво-о-орый...

Хозяин притворялся больным и, судя по беспокойному шмыганью его глаз, догадывался, что ему не верят.

— Покормите казаков? — требовательно спросил Григорий.

— А сколько вас? — Хозяйка отделилась от печки.

— Пятеро.

— Ну-к что жа, проходите, покормим чем бог послал.

Пообедав с казаками, Григорий вышел на улицу.

Возле колодца стояла в полной боевой готовности батарея. Обамуниченные лошади, мотая торбами, доедали ячмень. Ездовые и номера спасались от солнца в холодке зарядных ящиков, сидели и лежали возле орудий. Один батареец спал ничком, скрестив ноги и дергая во сне плечом. Он, наверное, прежде лежал в холодке, но солнце передвинуло тени и теперь палило его обнаженные курчавые волосы, посыпанные сеном трухой.

Под широкой ременной упряжью лошадей лоснилась мокрая, желтопенистая от пота шерсть. Привязанные к плетню верховые лошади офицеров и прислуги стояли, понуро поджав ноги. Казаки — пыльные, потные — отдыхали молча. Офицеры и командир батареи сидели на земле, прислонясь спинами к срубу колодца, курили. Неподалеку от них, ногами врозь, шестиконечной звездой лежали на выгоревшей лебеде казаки. Они истово черпали из цибарки кислое молоко, изредка кто-нибудь выплевывал попавшее в рот ячменное зерно.

Солнце смалило иступленно. Хутор простирал к бугру почти безлюдные улицы. Под амбарами, под навесами сараев, возле плетней, в желтой тени лопухов спали казаки. Нерасседланные кони, густо стоявшие у плетней, томились от жары и дремоты. Мимо проехал казак, лениво поднимая плетль до уровня конской спины. И снова улица — как забытый степной шлях, и случайными и ненужными кажутся на ней крашенные в зеленое орудия и измороженные походами и солнцем спящие люди.

Нудясь от скуки, Григорий пошел было в дом, но вдоль улицы показались трое верховых казаков чужой сотни. Они гнали небольшую кучку пленных красноармейцев. Артиллеристы засуетились, повставали, обметая пыль с гимнастерок и шаровар. Поднялись и офицеры. В соседнем дворе кто-то радостно крикнул:

– Ребята, пленных гонят!.. Брешу? И вот тебе мать божья!

Из дворов, спеша, выходили заспанные казаки. Подошли пленные – восемь провонявших потом, изузоренных пылью молодых ребят. Их густо окружили.

– Где их забрали? – спросил командир батареи, разглядывая пленных с холодным любопытством.

Один из конвойных ответил не без хвастливого удалства:

– Вояки! Это мы их в подсолнухах возля хутора переловили. Хоронились, чисто перепела от коршуна. Мы их с коней узрили и давай гонять! Одного убили...

Красноармейцы напуганно жались. Они, очевидно, боялись расправы. Глаза их беспомощно бегали по лицам казаков. Лишь один, с виду постарше, коричневатый от загара, скуластый, в засаленной гимнастерке и в прах измочаленных обмотках, презрительно глядел поверх голов чуть косящими черными глазами и плотно сжимал разбитые в кровь губы. Был он коренаст, широкоплеч. На черных жестких, как конский волос, кудрях его приплюснуто, зеленым блином, сидела фуражка со следом кокарды, уцелевшая, наверное, еще от германской войны. Он стоял вольно, черными толстыми пальцами с засохшей на ногтях кровью трогал расстегнутый ворот нательной рубахи и острый, в черной щетине, кадык. С виду он казался равнодушным, но вольно отставленная нога, до коленного сгиба уродливо толстая от обмотки, навернутой на портянку, дрожала мелкой ознобной дрожью. Остальные были бледны, безличны. Один он бросался в глаза дюжим складом плеч и татарским энергичным лицом. Может быть, поэтому командир батареи и обратился к нему с вопросом:

– Ты кто такой?

Мелкие, похожие на осколки антрацита глаза красноармейца оживились, и весь он как-то незаметно, но ловко подобрался:

– Красноармеец. Русский.

– Откуда родом?

– Пензенский.

– Доброволец, гад?

– Никак нет. Старший унтер-офицер старой армии. С семнадцатого попал, и так вот до этих пор...

Один из конвоиров вмешался в разговор:

– Он по нас стрелял, вражина!

– Стрелял? – кисло нахмурился есаул и, уловив взгляд стоявшего против него Григория, указал глазами на пленного. – Каков!.. Стрелял, а? Ты что же, не думал, что возьмут? А если за это сейчас в расход?

– Думал отстреляться. – Разбитые губы поежились в виноватой усмешке.

– Каков фрукт! Почему же не отстрелялся?

– Патроны израсходовал.

– А-а-а... – Есаул похолодел глазами, но оглядел солдата с нескрываемым удовольствием. – А вы, сукины сыны, откуда? – уже совсем иным тоном спросил он, скользя повеселевшими глазами по остальным.

– Нибилизированные мы, ваше высокоблагородие! Саратовские мы... балашовские... – заныл высокий длинношей парень, часто мигая, поскребывая рыжевато-ржавые волосы.

Григорий с щемящим любопытством разглядывал одетых в защитное молодых парней, их простые мужичьи лица, невзрачный пехотный вид. Враждебность возбуждал в нем один скуластый. Он обратился к нему насмешливо и зло:

– На что признавался? Ты, небось, ротой у них наворачивал? Командир? Коммунист? Расстрелял, говоришь, патроны? А мы тебя за это шашками посекем – это как?

Красноармеец, шевеля ноздрями раздавленного прикладом носа, уже смелее говорил:

– Я признавался не от лихости. Чего я буду таиться? Раз стрелял – значит, признавайся... Так я говорю? Что касасяемо... казните. Я от вас... – и опять улыбнулся, – добра не жду, на то вы и казаки.

Кругом одобрительно заулыбались. Григорий, покоренный рассудительным голосом солдата, отошел. Он видел, как пленные пошли к колодцу напиться. Из переулка взводными рядами выходила сотня пластунов.

IX

И после, когда полк вступил в полосу непрерывных боев, когда вместо завес уже лег изломистой вилюжиной фронт, Григорий всегда, сталкиваясь с неприятелем, находясь в непосредственной от него близости, испытывал все то же острое чувство огромного, ненасытного любопытства к красноармейцам, к этим русским солдатам, с которыми ему для чего-то нужно было сражаться. В нем словно навсегда осталось то наивно-ребяческое чувство, родившееся в первые дни четырехлетней войны, когда он под Лешнювом с кургана наблюдал в первый раз за суетой австро-венгерских войск и обозов. «А что за люди? А какие они?» Будто и не было в его жизни полосы, когда он бился под Глубокой с чернецовским отрядом. Но тогда он твердо знал обличье своих врагов – в большинстве они были донские офицеры, казаки. А тут ему приходилось иметь дело с русскими солдатами, с какими-то иными людьми, с теми, какие всей громадой подпирали Советскую власть и стремились, как думал он, к захвату казачьих земель и угодий.

Еще раз как-то в бою почти в упор натолкнулся он на красноармейцев, неожиданно выпавших из отнотины буерака. Он выехал со взводом в рекогносцировку, подъехал по теклине буерачка к развилке и тут вдруг услышал окающую русскую речь на жесткое «г», сыпкий шорох шагов. Несколько красноармейцев – из них один китаец – выскочили на гребень и, ошеломленные видом казаков, на секунду замерли от изумления.

– Казаки! – падая, испуганно клохчущим голосом крикнул один.

Китаец выстрелил. И сейчас же резко, захлебываясь, скороговоркой закричал тот белесый, который упал:

– Товарищи! Давай «максимку»! Казаки!

– Давай же! Казаки!..

Китайца Митька Коршунов срезал из нагана и, круто поворачивая коня, тесня им коня Григория, первый поскакал по гулкой крутобережной теклине, работая поводьями, направляя по извилинам тревожный конский бег. За ним скакали остальные, клубясь и норовя обогнать друг друга. За спинами их баритонисто зарокотал пулемет, пули общелкивали листья терна и боярышника, густо росшего по склонам и мысам, дробили и хищно рвали каменистое днище теклины...

Еще несколько раз сходил лицом к лицу с красными, видел, как пули казаков вырывали из-под ног красноармейцев землю и те падали и оставляли жизнь на этой плодovитой и чужой им земле.

...И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками. Всем им казалось, что только по вине большевиков, напавших на Область, идет эта война. И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на polegший под копытами нескошен-ный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел. Григорию иногда в бою казалось, что и враги его –

тамбовские, рязанские, саратовские мужики – идут, движимые таким же ревнивым чувством к земле. «Бьемся за нее, будто за любушку», – думал Григорий.

Меньше стали брать в плен. Участились случаи расправ над пленными. Широкой волной разлились по фронту грабежи; брали у заподозренных в сочувствии большевикам, у семей красноармейцев, раздевали донага пленных...

Брали всё, начиная с лошадей и бричек, кончая совершенно ненужными громоздкими вещами. Брали и казаки и офицеры. Обозы второго разряда пухли от добычи. И чего только не было на подводах! И одежда, и самовары, и швейные машины, и конская упряжь – все, что представляло какую-нибудь ценность. Добыча из обозов сплавлялась по домам. Приезжали родственники, охотой везли в часть патроны и продовольствие, а оттуда набивали брички грабленым. Конные полки – а их было большинство – вели себя особенно разнузданно. Пехотинцу, кроме подсумка, некуда положить, а всадник набивал сумы седла, увязывал в торока, и конь его запыхивался больше на вьючное животное, нежели на строевого коня. Распоясались братушки. Грабеж на войне всегда был для казаков важнейшей движущей силой. Григорий знал это и по рассказам стариков о прошлых войнах, и по собственному опыту. Еще в дни германской войны, когда полк ходил в тылу по Пруссии, командир бригады – заслуженный генерал – говорил, выстроив двенадцать сотен, указывая плетью на лежавший под холмами крохотный городок:

– Возьмете – на два часа город в вашем распоряжении. Но через два часа первого, уличенного в грабеже, – к стенке!

Но к Григорию как-то не привилось это – он брал лишь съестное да корм коню, смутно опасаясь трогать чужое и с омерзением относясь к грабежам. Особенно отвратительным казался в его глазах грабеж своих же казаков. Сотню он держал жестко. Его казаки если и брали, то таясь и в редких случаях. Он не приказывал уничтожать и раздевать пленных. Чрезмерной мягкостью вызвал недовольство среди казаков и полкового начальства. Его потребовали для объяснений в штаб дивизии. Один из чинов обрушился на него, грубо повышая голос:

– Ты что мне, хорунжий, сотню портишь? Что ты либеральничаешь? Мягко стелешь на всякий случай? По старой памяти играешь на две руки?.. Как это на тебя не кричать?.. А ну без разговоров! Дисциплины не знаешь? Что – сменить? И сменим! Приказываю сегодня же сдать сотню! И того, брат... не шурши!

В конце месяца полк совместно с сотней 33-го Еланского полка, шедшего рядом, занял хутор Гремячий Лог.

Внизу, по падине, густо толпились вербы, ясени и тополя, по кособогу разметались десятка три белостенных куреней, обнесенных низкой, из дикого камня, огородей. Выше хутора, на взгорье, доступный всем ветрам, стоял старый ветряк. На фоне надвигавшейся из-за бугра белой тучи мертво причаленные крылья его чернели косо накренившимся крестом. День был дождлив и хмарен. По балке желтая порошила метель: листья с шепотом ложились на землю. Малиновой кровью просвечивал пышнотелый краснотал. Гумна бугрились сияющей соломой. Мягкая предзимняя наволочь крыла пресно пахнущую землю.

Со своим взводом Григорий занял отведенный квартирьерами дом. Хозяин, оказалось, ушел с красными. Взводу стала угодливо прислуживать престарелая дородная хозяйка с дочерью-подростком. Григорий из кухни прошел в горницу, огляделся. Хозяева, видно, жили ядрено: полы крашены, стулья венские, зеркало, по стенам обычные фотографии служивых и ученический похвальный лист в черной рамке. Повесив к печке промокший дождевик, Григорий свернул курить.

Прохор Зыков вошел, поставил к кровати винтовку, равнодушно сообщил:

– Обозники приехали. С ними папаша ваш, Григорий Пантелевич.

– Ну?! Будет брехать!

– Право слово. Окромя его, наших хуторных, никак, шесть подвод. Иди встречай!

Григорий, накинув шинель, вышел.

В ворота за уздцы вводил лошадей Пантелей Прокофьевич. На бричке сидела Дарья, закутанная в зипун домашней валки. Она держала вожжи. Из-под мокрого капюшона зипуна блеснула на Григория влажной улыбкой, смеющимися глазами.

– Зачем вас принесло, земляки? – крикнул Григорий, улыбаясь отцу.

– А, сынок, живого видать! На гости вот приехали, не спроша заезжаем.

Григорий на ходу обнял широкие отцовы плечи, начал отцеплять с барков постромки.

– Не ждал, говоришь, Григорий?

– Конечно.

– А мы вот в обувательских... Захватили. Снаряды вам привезли – только воюйте.

Распрягая лошадей, они перебрасывались отрывистыми фразами. Дарья забирала с брички харчи и зерно лошадям.

– А ты чего приехала? – спросил Григорий.

– С батей. Он у нас хворый, со спасов никак не почунеется. Мать забоялась: случись чего, а он один на чужой стороне...

Кинув лошадям ярко-зеленого пахучего пырея, Пантелей Прокофьевич подошел к Григорию, спросил хриплым шепотом, беспокойно расширяя черные, с нездоровыми кровавистыми белками глаза:

– Ну как?

– Ничего. Воюем.

– Слышал брехню, вроде дальше границы не хотят казаки выступать... Верно?

– Разговоры... – уклончиво ответил Григорий.

– Что ж это вы, братцы? – как-то отчужденно и растерянно заговорил старик. – Как же так? А у нас старики надеются... Опричь вас кто же Дон-батюшку в защиту возьмет? Уж ежели вы – оборони господь! – не схотите воевать... Да как же это так? Обозные ваши брехали... Смуту сеют, сукины дети!

Вошли в хату. Собрались казаки. Разговор вначале вертелся вокруг хуторских новостей. Дарья, пошептавшись с хозяйкой, развязала сумку с харчами, собрала вечерять.

– Гутарют, будто ты уж с сотенных снятый? – спросил Пантелей Прокофьевич, принаряжая костяной расческой свалывшуюся бороду.

– Взводным я теперь.

Равнодушный ответ Григория кольнул старика. Пантелей Прокофьевич собрал на лбу ложбины, захромал к столу и, суетливо помолвившись, вытирая полый чекменька ложку, обиженно спросил:

– Это за что такая немилость? Аль не угодил начальству?

Григорию не хотелось говорить об этом в присутствии казаков, досадливо шевельнул плечом:

– Нового прислали... с образованием.

– Так им и ты служи, сынок! Распроцелятся они скоро! Ишь с образованием им приспичило! Меня, мол, за германскую дивствительно образовали, небось, побольше иного очкастого знаю!

Старик явно возмущался, а Григорий морщился, искоса поглядывал: не улыбаются ли казаки?

Снижение в должности его не огорчило. Он с радостью передал сотню, понимая, что ответственности за жизнь хуторян нести не будет. Но все же самолюбие его было уязвлено, и отец разговором об этом невольно причинял ему неприятность.

Хозяйка дома ушла на кухню, а Пантелей Прокофьевич, почувствовав поддержку в лице пришедшего хуторянина Богатырева, начал разговор:

– Стал быть, взаправду мыслишку держите дальше границ не ходить?

Прохор Зыков, часто моргая телячье-ласковыми глазами, молчал, тихо улыбался. Митька Коршунов, сидя на корточках у печки, обжигая пальцы, докуривал сигарку. Остальные трое казаков сидели и лежали на лавках. На вопрос что-то никто не отвечал. Богатырев горестно махнул рукой.

– Они об этих делах не дюже печалуются, – заговорил он гудящим густым басом. – По них хучь во полюшке травушка не расти...

– А зачем дальше идтить? – лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин. – Зачем идтить-то? У меня вон сироты посла жены остались, а я буду зазря жизнь терять.

– Выбьем из казачьей земли – и по домам! – решительно поддержал его другой.

Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закурил тонкий пушистый ус.

– А по мне, хучь ишо пять лет воевать. Люблю!

– Выхо-ди-и!.. Седлай!.. – закричали со двора.

– Вот видите! – отчаянно воскликнул Ильин. – Видите, отцы! Не успели обсушиться, а там уж – «выходи»! Опять, значит, на позиции. А вы гутарите: границы! Какие могут быть границы? По домам надо! Замиренья надо добиваться, а вы гутарите...

Тревога оказалась ложной. Григорий, озлобленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул:

– Ты, черт! Ходи прямо!

Пантелей Прокофьевич курил у двери. Пропустив входивших казаков, спросил:

– Чего встомашились?

– Тревога!.. Табун коров за красных сочли.

Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавки пашки и винтовки с подсумками.

Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на баз. Присели на крыльце.

– Хочу погутарить с тобой. – Старик тронул колено Григория, зашептал: – Неделю назад ездил я к Петру. Ихний Двадцать восьмой полк за Калачом зараз... Я, сынок, поджился там неплохо. Петро – он гожий, дюже гожий к хозяйству! Он мне чувал одежи дал, коня, сахару... Конь справный...

– погоди! – сурово перебил его Григорий, обожженный догадкой. – Ты сюда не за этим заявился?

– А что?

– Как – что?

– Люди ить берут, Гриша...

– Люди! Берут! – не находя слов, с бешенством повторял Григорий. – Своего мало? Хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!..

– Да ты не сепети! – холодно остановил его отец. – Я у тебя не прошу. Мне ничего не надо. Я нынче живу, а завтра ноги вытяну... Ты об себе думай. Скажи на милость, какой богатеи нашелся! Дома одна бричка осталась, а он... Да и что ж не взять у энтих, какие к красным подались?... Грех у них не брать! А дома каждая лычка бы годилась.

– Ты мне оставь это! А нет – я живо провожу отсель! Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителей! – дрожал и задыхался Григорий.

– За это и с сотенных прогнали! – ехидно поддел его отец.

– На черта мне это сдалось! Я и от взвода откажусь!..

– А то чего же! Умен, умен...

С минуту молчали. Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное и обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. «Для этого и Дарью взял, чертяка старый! Грабленное оберегать», – думал он.

– Степан Астахов объявился. Слыхал? – равнодушно начал Пантелей Прокофьевич.

– Как это? – Григорий даже папиросу выронил из рук.

– А так. Оказалось – в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра – видимо-невидимо! На двух подводах привез, – прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. – Аксинью забрал и зараз ушел на службу. Хорошую должность ему дали, этапным комендантом идей-то, никак, в Казанской.

– Хлеба много намолотили? – перевел Григорий разговор.

– Четыреста мер.

– Внуки твои как?

– Ого, внуки, брат, герои! Гостинца бы послал.

– Какие с фронта гостинцы! – тоскливо вздохнул Григорий, а в мыслях был около Аксиньи и Степана.

– Винтовкой не разживусь у тебя? Нету лишней?

– На что тебе?

– Для дому. И от зверя, и от худого человека. На всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. Везли – я и взял.

– Возьми в обозе. Этого добра много. – Григорий хмуро улыбнулся. – Ну, иди спи! Мне на заставу идтить.

Наутро часть полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что он пристыдил отца и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи:

– Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради господ бога!

– Но-но, ты бога оставь, – прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Мелехов. – Ваши мужья у нас тоже, небось, брали бы. Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое – богово», значит – молчок, не жалься!

Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в узлы...

Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади поверх всего лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички и на укоряющее замечание Дарьи:

– Вы, батенька, и с г... не расстанетесь! – гневно ответил:

– Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка – как из Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы растрепала?

Опухшей от слез хозяйке, затворявшей за ними ворота, сказал добродушно:

– Прощай, бабочка! Не гневайся. Вы себе ишо наживете.

Х

Цепь дней... Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения – не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли.

А взамен этого – разрубленные лезвиями дорог хлеба. По дорогам толпы раздетых, трупно-черных от пыли пленных. Идет сотня, копытит дороги, железными подковами мнет хлеба. В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с красными казаков, дерут плетями жен и матерей отступников...

Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из памяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после себя следа. Будни войны казались еще скучнее, нежели в прошлую кампанию, быть может – потому, что все изведано было раньше. Да и к самой войне все участники прежней относились пренебрежительно: и размах, и силы, и потери – все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и понуждала по-животному оберегаться.

– Рази это война? Так, одно подобие. В германскую, бывало, немец как сыпанет из орудий – полки выкашивал под корень. А зараз двоих из сотни поранют – урон, говорят! – рассуждали фронтовики.

Однако и эта игрушечная война раздражала. Копились недовольство, усталость, озлобление. В сотне все настойчивее говорили:

– Выбьем из донской земли краснюков – и решка! Дальше границы не пойдем. Нехай Россия – сама по себе, мы – сами по себе. Нам у них свои порядки не устанавливать.

Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стратегическим центром был Царицын, туда бросали и белые и красные лучшие силы, а на Северном фронте у противных сторон не было перевеса. Те и другие копили силы для решительного натиска. Казаки имели больше конницы; используя это преимущество, вели комбинированные операции, охватывали фланги, заходили в тыл. Перевес был на стороне казаков лишь потому, что противостояли им морально шаткие части из свежемобилизованных красноармейцев преимущественно прифронтовой полосы. Саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами. Но как только командование бросало в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу – положение выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и поочередно одерживались победы чисто местного значения.

Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее ходом. Он был уверен: к зиме фронта не станет; знал, что казаки настроены примиренчески и о затяжной войне не может быть и речи. В полк изредка приходили газеты. Григорий с ненавистью брал в руки желтый, набранный на оберточной бумаге номер «Верхнедонского края» и, бегло просматривая сводки фронтов, скрипел зубами. А казаки добродушно ржали, когда он читал им вслух бравурные, притворно-бодрые строки:

27 сентября на филоновском направлении бои с переменным успехом. В ночь на 26-е доблестный Вешенский полк выбил противника из хутора Подгорного и на плечах его ворвался в хутор Лукьяновский. Взяты трофеи и огромное количество пленных. Красные части отступают в беспорядке. Настроение казаков бодрое. Донцы рвутся к новым победам!

– Сколько пленных-то забрали мы? Огромное число? Ох-ох, су-у-укины сыны! Тридцать два человека взяли-то! А они... ах-хаха-ха!.. – покатывался Митька Коршунов, во всю ширь разевавая белозубый рот, длинными ладонями стискивая бока.

Не верили казаки и сведениям об успехах «кадетов» в Сибири и на Кубани. Больно беззастенчиво и нагло врал «Верхнедонской край». Охваткин – большерукий, огромного роста казак, – прочитав статью о чехословацком мятеже, заявил в присутствии Григория:

– Вот придавят чеха, а потом как жмякнут на нас всю армию, какая под ним была, – и потекет из нас мокрая жижа... Одно слово – Расея! – И грозно закончил: – Шутишь, что ля?

– Не пужай! Аж возле пупка заноило от дурацкого разговору, – отмахнулся Прохор Зыков.

А Григорий, сворачивая курить, с тихим злорадством решил про себя: «Верно!»

Он долго сидел в этот вечер за столом, ссутулясь, расстегнув ворот выгоревшей на солнце рубахи с такими же выгоревшими защитными погонами. Загорелое лицо его, на котором нездоровая полнота сровняла рытвины и острые углы скул, было сурово. Он ворочал черной мускулистой шеей, задумчиво покручивал закурчавившийся, порыжелый от солнца кончик уса и

напряженно глядел в одну точку похолодевшими за последние годы, злыми глазами. Думал с тугой, непривычной трудностью и, уже ложась спать, словно отвечая на общий вопрос, сказал:

– Некуда податься!

Всю ночь не спал. Часто выходил проведывать коня и подолгу стоял на крыльце, повитый черной, шелково шелестящей тишиной.

Знать, еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий; видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса падучим холодным пламенем. Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овеявая его черным крылом. Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки, темляк упал к ногам коня, будто перекушенный.

– Кто-то крепко за тебя молится, Григорий, – сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке.

Фронт перевалил за линию железной дороги. Ежедневно обозы подвозили мотки колючей проволоки. Ежедневно телеграф струил по фронту слова:

Со дня на день придут войска союзников. Необходимо укрепиться на границах Области до прихода подкреплений, сдерживать натиск красных любой ценой.

Мобилизованное население долбило пешнями мерзлую землю, рыло окопы, опутывало их колючей проволокой. А по ночам, когда казаки бросали окопы и шли к жилью обогреться, к окопам подходили разведчики-красноармейцы, валяли укрепления и цепляли на ржавые шипы проволоки воззвания к казакам. Казаки читали их с жадностью, словно письма от родимых. Было ясно, что в таких условиях продолжать войну невыносимо. Полыхали морозы, сменяясь оттепелями и обильными снегопадами. Окопы заметал снег. В окопах трудно было пролежать даже час. Казаки мерзли, отмораживали ноги и руки. В пехотных и пластунских частях у многих не было сапог. Иные вышли на фронт словно на баз скотине наметать: в одних чиряках и легких шароварах. В союзников не верили. «На жуках они едут!» – горестно сказал однажды Андрюшка Кашулин. А сталкиваясь с разъездами красных, казаки слышали, как те горланили: «Эге-гей! Христосики! Вы к нам на танках, а мы к вам на санках! Мажьте пятки салом – скоро в гости приедем!»

С середины ноября красные перешли в наступление. Они упорно оттесняли казачьи части к линии железной дороги, однако перелом в операциях наступил позднее. 16 декабря красная конница после длительного боя опрокинула 33-й полк, но на участке Вешенского полка, развернувшегося возле хутора Колодезянского, натолкнулась на отчаянное сопротивление. Из-за оснеженной кромки гуменных прясел вешенцы-пулеметчики встречали противника, наступавшего в пешем строю, шквальным огнем. Правофланговый пулемет в опытных руках каргинского казака Антипова бил с рассеиванием вглубь, выкашивал перебегавшие цепи. Сотня крылась дымом выстрелов. А с левого фланга уже тронулись две сотни в обход.

К вечеру вяло наступавшие красноармейские части сменил только что прибывший на фронт отряд матросов. Они пошли в атаку на пулеметы в лоб, не ложась, без крика.

Григорий стрелял непрерывно. Задымилась накладка. Ствол накалился и обжигал пальцы. Охладив винтовку, Григорий снова вгонял обойму, ловил прижмуренным глазом далекие черные фигурки на мушку.

Матросы сбили их. Сотни, разобрав лошадей, проскакали хутор, выметнулись на бугор. Григорий оглянулся и безотчетно бросил поводья. С бугра далеко виднелось тоскливое снежное поле с мысами занесенного снегом бурьяна и лиловыми предвечерними тенями, лежавшими по склонам балок. По нему на протяжении версты черной сыпью лежали трупы порезанных пулеметным огнем матросов. Одеты в бушлаты и кожаные куртки, они чернели на снегу, как стая присевших в отлете грачей...

К вечеру, расчлененные наступлением, сотни, потерявшие связь с Еланским полком и бывшим справа от них одним из номерных полков Усть-Медведицкого округа, стали на ночевку в двух хуторах, расположенных у крохотной речонки, притока Бузулука.

Уже в сумерках Григорий, возвращаясь от места, где по приказанию командира сотни он расставил заставы, встретился в переулке с командиром полка и полковым адъютантом.

– Где третья сотня? – натягивая поводья, спросил командир.

Григорий ответил. Всадники тронули лошадей.

– Потери в сотне большие? – отъехав, спросил адъютант; ответа он не расслышал, переспросил: – Как?

Но Григорий пошел, не отвечая.

Всю ночь через хутор тянулись какие-то обозы. Возле двора, где ночевал с казаками Григорий, долго стояла батарея. Сквозь одинарное оконце слышались матерная брань, крик ездовых, суетня. В хату входили обогреваться номера, ординарцы штаба полка, каким-то образом очутившиеся в этом хуторе. В полночь, разбудив хозяев и казаков, вломились трое из прислуги батареи. Они неподалеку в речке увязили орудие и решили заночевать, чтобы утром выручить его быками. Григорий проснулся, долго глядел, как батарейцы, кряхтя, счищая сапог липкую мерзлую грязь, разуваяются и развешивают на боровке подземки мокрые портянки. Потом вошел по уши измазанный офицер-артиллерист. Он попросился переночевать, стянул шинель и долго с безразличным видом размазывал по лицу рукавом френча брызги грязи.

– Одно орудие мы потеряли, – сказал он, глядя на Григория покорными, как у усталой лошади, глазами. – Сегодня такой бой был, как под Мачехой. Нас нащупали после двух выстрелов... Ка-ак саданет – и моментально перешиб боевую ось! А орудие стояло на гумне. Уж куда лучше замаскировано было!.. – К каждой фразе он привычно и, наверно, бессознательно пристегивал похабное ругательство. – Вы Вешенского полка? А чай пить будете? Хозяюшка, вы бы нам самоварчик, а?

Он оказался болтливый, надоедливый собеседник. Чай поглощал без устали. И через полчаса Григорий уже знал, что родом тот из Платовской станицы, окончил реальное, был на германской войне и два раза неудачно женился.

– Теперь аминь Донской армии! – говорил он, слизывая пот с бритой губы острым и красным языком. – Война приходит к концу. Фронт завтра расползется, а через две недели мы будем уже в Новочеркасске. Хотели с босыми казаками штурмовать Россию! Ну не идиоты ли? А кадровые офицеры – все негодяи, ей-богу! Вы ведь из казаков? Да? Вот вашими руками они и хотят каштанчики из огня таскать. А сами по интендантствам лавровый лист да крупу отвешивают!

Он часто моргал пустоцветными глазами, шевелился, наваливаясь на стол всем крупным и плотно сбитым корпусом, а углы большого, растянутого рта были мрачно и безвольно опущены, и на лице хранилось целостным прежнее выражение покорной замордованной лошади.

– Раньше, хотя бы в эпоху Наполеона, добро было воевать! Сошлись две армии, цокнулись, разошлись. Ни тебе фронтов, ни сиденья в окопах. А теперь начни разбираться в операциях – сам черт голову сломит. Если раньше историки брехали, то в описании этой войны такого наворочают!.. Скука одна, а не война! Красок нет. Грязцо! И вообще – бессмыслица. Я бы этих верховодов свел один на один и сказал: «Вот вам, господин Ленин, вахмистр – учитесь у него владеть оружием. А вам, господин Краснов, стыдно не уметь». И пускай бы, как Давид с Голиафом, бились: чей верх, того и власть. Народу все равно, кто им правит. Как вы думаете, господин хорунжий?

Григорий, не отвечая, сонно следил за тугими движениями его мясистых плеч и рук, за неприятно часто мелькавшим в скважине рта красным языком. Хотелось спать, злил навязчивый, придурковатый артиллерист, вызывал тошноту исходивший от потных ног его запах псины...

Утром Григорий проснулся с нудным ощущением чего-то невырешенного. Развязка, которую он предвидел еще с осени, все же поразила его своей внезапностью. Проглядел Григорий, как недовольство войной, вначале журчившееся по сотням и полкам мельчайшими ручейками, неприметно слилось в могущественный поток. И теперь – видел лишь этот поток, стремительно-жадно разрывающий фронт.

Так на провесне едет человек степью. Светит солнце. Кругом – непочатый лиловый снег. А под ним, невидимая глазу, творится извечная прекрасная работа – раскрепощение земли. Съедает солнце снег, червоточит его, наливает из-под исподу влагой. Парная туманная ночь – и наутро уже с шорохом и гулом оседает наст, по дорогам и колесникам пузырится зеленая нагорная вода, из-под копыт во все стороны тальми комьями брызжет снег. Тепло. Отходят и оголяются супесные пригорки, первобытно пахнет глинистой почвой, истлевшей травой. В полночь мощно режут буераки, гудят заваливаемые снежными оползнями яры, сладостным куревом дымит бархатисто-черная обнаженная зябь. К вечеру, стона, ломает степная речушка лед, мчит его, полноводная, туго налитая, как грудь кормилицы, и, пораженный неожиданным исходом зимы, стоит на песчаном берегу человек, ищет глазами места помельче, щелкает запотевшего, перепрыдывающего ушами, коня плетью. А кругом предательски и невинно голубеет снег, дремотная и белая лежит зима...

Весь день полк отступал. По дорогам скакали обозы. Где-то правее, за серой тучей, заставшей горизонт, рыхлыми обвалами грохотали орудийные залпы. По оттаявшей унавоженной дороге хлюпали сотни, месили мокрый снег лошади с захлюстанными щетками. По обочинам дорог скакали ординарцы. Молчаливые грачи, затянутые в блестящее синеватое оперенье, кургузые и неловкие, как пешие кавалеристы, важно и качко расхаживали сбоку от дороги, пропуская мимо себя, как на параде, отступающие казачьи сотни, колонны оборванных пластунов, валки обозов.

Григорий понял, что стремительно разматывающуюся пружину отступления уже ничто не в силах остановить. И ночью, исполненный радостной решимостью, он самовольно покинул полк.

– Ты куда собрался, Григорь Пантелев? – спросил Митька Коршунов, насмешливо наблюдавший, как Григорий надевает поверх шинели дождевик, цепляет шашку и наган.

– А тебе что?

– Любопытно.

Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул, но ответил весело, с подмигом:

– На кудыкино поле. Понял?

И вышел.

Конь его стоял нерасседланный.

До зари он скакал по дымящимся от ночного заморозка шляхам. «Поживу дома, а там услышу, как будут они идтить мимо, и пристану к полку», – отстраненно думал он о тех, с кем сражался вчера бок о бок.

На другой день к вечеру он уже вводил на отцовский баз сделавшего двухсотверстный пробег, исхудавшего за два дня, шатавшегося от усталости коня.

XI

В конце ноября в Новочеркасске стало известно о прибытии военной миссии держав Согласия. По городу пошли упорные слухи о том, что мощная английская эскадра уже стоит на рейде в Новороссийской гавани, что будто бы уже высаживаются, переброшенные из Салоник, огромнейшие десанты союзнических войск, что корпус цветных французских стрелков уже высажен и в самом ближайшем будущем начнет наступление совместно с Добровольческой армией. Снежным комом катились по городу слухи...

Краснов приказал выслать почетный караул казаков лейбгвардии Атаманского полка. Спешно нарядили две сотни молодых атаманцев в высокие сапоги и белую ременную амуницию и столь же спешно отправили их в Таганрог совместно с сотней трубачей.

Представители английской и французской военных миссий на Юге России, в целях своеобразной политической рекогносцировки, решили послать в Новочеркасск несколько офицеров. В задачу их входило ознакомиться с положением на Дону и перспективами дальнейшей борьбы с большевиками. Англию представляли капитан Бонд и лейтенанты Блумфельд и Монро, Францию – капитан Ошэн и лейтенанты Дюпре и Фор. Приезд этих-то небольших чинов союзнических военных миссий, по капризу случая попавших в «послы», и наделал столько переполоху в атаманском дворце.

С великим почетом доставили «послов» в Новочеркасск. Непомерным подобострастием и пресмыкательством вскружили головы скромным офицерам, и те, почувствовав свое «истинное» величие, уже стали покровительственно и свысока посматривать на именитых казачьих генералов и сановников всевеликой бутафорской республики.

У молодых французских лейтенантов сквозь внешний лоск приличия и приторной французской любезности уже начали пробиваться в разговорах с казачьими генералами холодные нотки снисходительности и высокомерия.

Вечером во дворце был сервирован обед на сто кувертов. Певчий войсковой хор стлал по залу шелковые полотнища казачьих песен, богато расшитых тенорами подголосков, духовой оркестр внушительно громыхал и вызванивал союзнические гимны. «Послы» кушали, как и полагается в таких случаях, скромно и с большим достоинством. Чувствуя историческую значимость момента, атаманские гости рассматривали их исподтишка.

Краснов начал речь:

– Вы находитесь, господа, в историческом зале, со стен которого на вас смотрят немые глаза героев другой народной войны, тысяча восемьсот двенадцатого года. Платов, Иловайский, Денисов напоминают нам священные дни, когда население Парижа приветствовало своих освободителей – донских казаков, когда император Александр Первый восстанавливал из обломков и развалин прекрасную Францию...

У делегатов «прекрасной Франции» от изрядной меры выпитого цимлянского уже повеселели и замаслились глаза, но речь Краснова они дослушали со вниманием. Пространно обрисовав катастрофические бедствия, испытываемые «угнетенным дикими большевиками русским народом», Краснов патетически закончил:

– ...Лучшие представители русского народа гибнут в большевистских застенках. Взоры их обращены на вас: они ждут вашей помощи, и им, и только им вы должны помочь, не Дону. Мы можем с гордостью сказать: мы свободны! Но все наши помыслы, цель нашей борьбы – великая Россия, верная своим союзникам, отстаивавшая их интересы, жертвовавшая собою для них и жаждущая так страстно теперь их помощи. Сто четыре года тому назад в марте месяце французский народ приветствовал императора Александра Первого и российскую гвардию. И с того дня началась новая эра в жизни Франции, выдвинувшая ее на первое место. Сто четыре года назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне. Мы ожидаем вас в Москве! Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей и нашего гимна вместе войти в Кремль, чтобы вместе испытать всю сладость мира и свободы! Великая Россия! В этих словах – все наши мечты и надежды!

После заключительных слов Краснова встал капитан Бонд. При звуках английской речи среди присутствовавших на банкете мертвая простерлась тишина. Переводчик с подъемом стал переводить:

– Капитан Бонд от своего имени и от имени капитана Ошэна уполномочен заявить донскому атаману, что они являются официально посланными от держав Согласия, чтобы узнать о том, что происходит на Дону. Капитан Бонд заверяет, что державы Согласия помогут Дону

и Добровольческой армии в их мужественной борьбе с большевиками всеми силами и средствами, не исключая и войск.

Переводчик еще не кончил последней фразы, как зычное «ура», троекратно повторенное, заставило содрогнуться стены зала. Под бравурные звуки оркестра зазвучали тосты. Пили за процветание «прекрасной Франции» и «могущественной Англии», пили за «дарование победы над большевиками»... В бокалах пенилось донское шипучее, искрилось выдержанное игристое, сладко благоухало старинное «лампадное» вино...

Слова ждали от представителей союзнической миссии, и капитан Бонд не заставил себя ждать:

– Я провозглашаю тост за великую Россию, и я хотел бы услышать здесь ваш прекрасный старый гимн. Мы не будем придавать значения его словам, но я хотел бы услышать только его музыку.

Переводчик перевел, и Краснов, поворачиваясь побледневшим от волнения лицом к гостям, крикнул сорвавшимся голосом:

– За великую, единую и неделимую Россию, ура!

Оркестр мощно и плавно начал «Боже, царя храни». Все поднялись, осушая бокалы. По лицу седого архиепископа Гермогена текли обильные слезы. «Как это прекрасно!..» – восторгался захмелевший капитан Бонд. Кто-то из сановных гостей, от полноты чувств, по-простецки рыдал, уткнув бороду в салфетку, измазанную раздавленной зернистой икрой...

В эту ночь над городом выл и ревел лютый приазовский ветер. Мертвенней блистал купол собора, овеванный первой метелицей...

В эту ночь за городом, на свалке, в суглинистых ярах по приговору военно-полевого суда расстреливали шахтинских большевиков-железнодорожников. С завязанными назад руками их по двое подводили к откосу, били в упор из наганов и винтовок, и звуки выстрелов изморозный ветер гасил, как искры из папирос...

А у входа в атаманский дворец, на стуже, на палящем зимнем ветру мертво стыл почетный караул из казаков лейб-гвардии Атаманского полка. У казаков чернели, сходились с пару сжимавшие эфесы обнаженных палашей руки, от холода слезились глаза, коченели ноги... Из дворца до зари неслись пьяные вскрики, медные всплески оркестра и рыдающие трели теноров войскового хора песенников...

* * *

А неделю спустя началось самое страшное – развал фронта. Первым обнажил занятый участок находившийся на калачовском направлении 28-й полк, в котором служил Петро Мелехов.

Казаки после тайных переговоров с командованием 15-й Инзенской дивизии решили сняться с фронта и беспрепятственно пропустить через территорию Верхнедонского округа красные войска. Яков Фомин, недалекий, умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного полка, но, по сути, только вывеска была фоминская, а за спиной Фомина правила делами и руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков.

После бурного митинга, на котором офицеры, побаиваясь пули в спину, неохотно доказывали необходимость сражаться, а казаки дружно, напористо и бестолково выкрикивали все те же надоевшие всем слова о ненужности войны, о примирении с большевиками, – полк тронулся. После первого же перехода ночью возле слободы Солонки командир полка, войсковой старшина Филиппов, с большинством офицерского состава отбился от полка и на рассвете пристал к отступавшей, потрепанной в боях бригаде графа Мольера.

Следом за 28-м полком покинул позиции 36-й полк. Он в полном составе, со всеми офицерами, прибыл в Казанскую. Рабски заискивавший перед казаками, мелкорослый, с вороватыми глазами командир, окруженный всадниками, верхом подъехал к дому, где находился этапный комендант. Вошел воинственно, играя плетью.

– Кто комендант?

– Я – помощник коменданта, – привставая, с достоинством ответил Степан Астахов. – Закройте, господин офицер, дверь.

– Я – командир Тридцать шестого полка, войсковой старшина Наумов. Э... честь имею... Мне необходимо одеть и обуть полк. Люди у меня раздеты и босы. Слышите вы?

– Коменданта нет, а без него я не могу вам выдать со склада ни пары валенок.

– Как?

– А вот так.

– Ты!.. Ты с кем? Ар-р-рестую, черт тебя дер-р-ри! В подвал его, ребята! Где ключи от склада, тыловая ты крыса?.. Что-о-о? – Наумов хлопнул по столу плетью и, побледнев от бешенства, сдвинул на затылок лохматую маньчжурскую папаху. – Давай ключи – и без разговоров!

Через полчаса из дверей склада, вздымая оранжевую пыль, полетели на снег, на руки столпившихся казаков вязанки дубленых полушубков, пачки валенок, сапог, из рук в руки пошли кули с сахаром. Шумный и веселый говор долго будоражил площадь...

А в это время 28-й полк с новым командиром полка, урядником Фоминым, вступал в Вешенскую. Следом за ним, верстах в тридцати, шли части Инзенской дивизии. Красная разведка в этот день побывала уже на хуторе Дубровке.

Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов за четыре дня до этого вместе с начальником штаба генералом Замбржицким спешно эвакуировались в станицу Каргинскую. Автомобиль их буксовал по снегу, жена Замбржицкого в кровь кусала губы, дети плакали...

В Вешенской на несколько дней установилось безвластие. По слухам, в Каргинской сосредоточивались силы для того, чтобы бросить их на 28-й полк. Но 22 декабря из Каргинской в Вешенскую приехал адъютант Иванова и, посмеиваясь, забрал на квартире командующего забытые им вещи: летнюю фуражку с новенькой кокардой, головную щетку, бельишко и еще кое-что по мелочам...

В образовавшийся на Северном фронте стоверстный прорыв хлынули части 8-й красной армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. На Талы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхелаурова. На севере на неделю стало необычно тихо. Не слышалось орудийного гула, помалкивали пулеметы. Удрученные изменой верхнедонских полков, без боя отступали бывшие на Северном фронте низовские казаки. Красные подвигались сторожко, медленно, тщательно шупая разведками лежащие впереди хутора.

Крупнейшую для донского правительства неудачу на Северном фронте сменила радость. В Новочеркасск 26 декабря прибыла союзническая миссия: командующий британской военной миссией на Кавказе генерал Пул с начальником штаба полковником Киссом и представители Франции – генерал Франше-д'Эспере и капитан Фуке.

Краснов повез союзников на фронт. На станции Чир на перроне в холодное декабрьское утро был выстроен почетный караул. Вислоусый, пропойского вида генерал Мамонтов, обычно неряшливый, но на этот раз подтянутый, блистающий сизым гляncем свежевыбритых щек, ходил по перрону, окруженный офицерами. Ждали поезда. Около вокзала топтались и дули на посиневшие пальцы музыканты военного оркестра. В карауле живописно застыли разномастные и разновозрастные казаки низовских станиц. Рядом с седобородами дедами стояли безусые юнцы, перемеженные чубатыми фронтовиками. У дедов на шинелях блистали золотом и серебром кресты и медали за Ловчу и Плевну, казаки помоложе были густо увешаны крестами, выслуженными за лихие атаки под Геок-Тепе, Сандепу и на германской – за Перемышль, Вар-

шаву, Львов. Юнцы ничем не блистали, но тянулись в струнку и во всем старались подражать старшим.

Окутанный молочным паром, пригрохотал поезд. Не успели еще распахнуться дверцы пульмановского вагона, а капельмейстер уже свирепо взмахнул руками, и оркестр зычно дернул английский национальный гимн. Мамонтов, придерживая шашку, заспешил к вагону. Краснов радушным хозяином вел гостей к вокзалу мимо застывших шпалер казаков.

– Казачество все поднялось на защиту Родины от диких красновардейских банд. Вы видите представителей трех поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Японии, Австро-Венгрии и Пруссии, а теперь сражаются за свободу отечества, – сказал он на превосходном французском языке, изящно улыбаясь, царственным кивком головы указывая на дедов, выпучивших глаза, замерших без дыхания.

Недаром Мамонтов, по распоряжению свыше, старался в подборе почетного караула. Товар был показан лицом.

Союзники побывали на фронте, удовлетворенные вернулись в Новочеркасск.

– Я очень доволен блестящим видом, дисциплинированностью и боевым духом ваших войск, – перед отъездом говорил генерал Пул Краснову. – Я немедленно отдам распоряжение, чтобы из Салоник отправили сюда к вам первый отряд наших солдат. Вас, генерал, я прошу приготовить три тысячи шуб и теплых сапог. Надеюсь, что при нашей помощи вы сумеете окончательно искоренить большевизм...

...Спешно шились дубленые полушубки, заготавливались валенки. Но что-то не высаживался в Новороссийске союзнический десант. Уехавшего в Лондон Пула сменил холодный, высокомерный Бригтс. Он привез из Лондона новые инструкции и жестко, с генеральской прямолинейностью заявил:

– Правительство его величества будет оказывать Добровольческой армии на Дону широкую материальную помощь, но не даст ни одного солдата.

Комментарии к этому заявлению не требовались...

ХII

Враждебность, незримой бороздой разделившая офицеров и казаков еще в дни империалистической войны, к осени 1918 года приняла размеры неслыханные. В конце 1917 года, когда казачьи части медленно стекались на Дон, случаи убийств и выдачи офицеров были редки, зато год спустя они стали явлением почти обычным. Офицеров заставляли во время наступления, по примеру красных командиров, идти впереди цепей – и без шума, тихонько постреливали им в спины. Только в таких частях, как Гундоровский георгиевский полк, спайка была крепка, но в Донской армии их было немного.

Лукавый, смекалистый тугодум Петро Мелехов давно понял, что ссора с казаком накличет смерть, и с первых же дней заботливо старался уничтожить грань, отделявшую его, офицера, от рядового. Он так же, как и они, говорил в удобной обстановке о никчемности войны; причем говорил это неискренне, с великой натугой, но неискренности этой не замечали; подкрашивался под сочувствующего большевикам и неумеренно стал заискивать в Фомине, с тех пор как увидел, что того выдвигает полк. Так же, как и остальные, Петро не прочь был пограбить, поругать начальство, пожалеть пленного, в то время как в душе его припадочно колотилась ненависть и руки корежила судорога от зудящего желания ударить, убить... На службе был он покладист, прост – воск, а не хорунжий! И ведь втерся Петро в доверие к казакам, сумел на их глазах переменить личину.

Когда под слободой Солонкой Филиппов увел офицеров, Петро остался. Смирный и тихий, постоянно пребывающий в тени, во всем умеренный, вместе с полком пришел он в

Вешенскую. А в Вешенской, пробыв два дня, не выдержал и, не побывав ни в штабе, ни у Фомина, ахнул домой.

С утра в тот день в Вешенской на плацу, около старой церкви, был митинг. Полк ждал приезда делегатов Инзенской дивизии. По плацу толпами ходили казаки в шинелях, в полушубках – нагольных и сшитых из шинелей, в пиджаках, в ватных чекменях. Не верилось, что эта пестро одетая огромная толпастроевая часть, 28-й казачий полк. Петро уныло переходил от одного курагота к другому, по-новому оглядывал казаков. Раньше, на фронте, одежда их не бросалась в глаза, да и не приходилось видеть полк целой компактной массой. Теперь Петро, ненавидяще покусывая отросший белый ус, глядел на заиндевевшие лица, на головы, покрытые разноцветными папахами, малахаями, кубанками, фуражками, снижал глаза и видел такое же богатое разнообразие: растоптанные валенки, сапоги, обмотки поверх снятых с красноармейца ботинок.

– Босотва! Мужики проклятые! Выродки! – в бессильной злобе шептал про себя Петро.

На заборах белели фоминские приказы. Жителей не было видно на улицах. Станица выжидаяще таилась. В просветах переулков виднелась белая грудина заметенного снегом Дона. Лес за Доном чернел, как нарисованный тушью. Около серой каменной громады старой церкви овечьей отарой кучились приехавшие с хуторов к мужьям бабы.

Петро, одетый в опущенный по бортам полушубок с огромным карманом на груди и эту проклятую каракулевою офицерскую папаху, которой он недавно так гордился, ежеминутно чувствовал на себе косые, холодные взгляды. Они пронизывали его сквозняком, усугубляли и без того тревожно-растерянное состояние. Он смутно помнил, как на днище опрокинутой посередине плаца бочки вырос приземистый красноармеец в добротной шинели и новехонькой мерлушковой папашке с расстегнутыми мотузками наушников. Рукой в пуховой перчатке тот поправил обмотанный вокруг шеи дымчато-серый кроличий, казачий с махрами шарф, огляделся.

– Товарищи казаки! – резнул по ушам Петра низкий простуженный голос.

Оглянувшись, Петро увидел, как казаки, пораженные непривычным в их обиходе словом, переглядываются, подмигивают друг другу обещающе и взволнованно. Красноармеец долго говорил о Советской власти, о Красной Армии и взаимоотношениях с казачеством. Петру особенно запомнилось – оратора все время перебивали криками:

– Товарищ, а что такое коммуния?

– А нас в нее не запишут?

– А что за коммуническая партия?

Оратор прижимал к груди руки, поворачивался во все стороны, терпеливо разяснял:

– Товарищи! Коммунистическая партия – это дело добровольное. В партию вступают по собственному желанию те, кто хочет бороться за великое дело освобождения рабочих и крестьян от гнета капиталистов и помещиков.

Через минуту из другого угла выкрикивали:

– Просим разяснить насчет коммунистов и комиссаров!

После ответа не проходило и нескольких минут, как снова чей-нибудь яровитый бас громыхал:

– Непонятно гутаришь про коммунию. Покорнейше просим растолковать. Мы – люди темные. Ты нам простыми словами жарь!

Потом нудно и долго говорил Фомин и часто, к делу и не к делу, щеголял словом «экуироваться». Около Фомина व्यюном вился какой-то молодой парень в студенческой фуражке и щегольском пальто. А Петро, слушая бессвязную речь Фомина, вспомнил, как в феврале 1917 года, в день, когда к нему приехала Дарья, в первый раз увидел он Фомина на станции по пути к Петрограду. Перед глазами его стоял строгий, влажно мерцающий взгляд широко посаженных глаз дезертира-атаманца, одетого в шинель с истертым номером «52» на урядничьих

погонах, медвежковатая его поступь. «Невтерпеж, братушка!» – слышались Петру невнятные слова. «Дезертир, дурак вроде Христони, и зараз – командир полка, а я в холодке», – горячно блестя глазами, думал Петро.

Казак, опоясанный наперекрест пулеметными лентами, сменил Фомина.

– Братцы! Я сам у Подтелкова в отряде был, и вот ишо, может, бог даст, придется со своими идтить на кадетов! – хрипло кричал он, широко кидая руками.

Петро быстро зашагал к квартире. Седлал коня и слышал, как стреляли казаки, разъезжаясь из станицы, по старому обычаю оповещая хутора о возвращении служивых.

XIII

Пугающие тишиной, короткие дни под исход казались большими, как в страдную пору. Полегли хутора глухой целинной степью. Будто вымерло все Обдонье, будто мор опустошил станичные юрты. И стало так, словно покрыла Обдонье туча густым, непросветно-черным крылом, распростерлась немо и страшно и вотвот пригнет к земле тополя вихрем, полыхнет сухим, трескучим раскатом грома и пойдет крушить и корежить белый лес за Доном, осыпать с меловых отрогов дикий камень, реветь погибельными голосами грозы...

С утра в Татарском застилал землю туман. Гора гудела к морозу. К полудню солнце вышелушивалось из хлипкой мглы, но от этого не становилось ярче. А туман потерянно бродил по высотам Обдонских гор, валился в яры, в отроги и гибнул там, оседая мокрой пылью на мшистых плитняках мела, на оснеженных голызинах гребней.

Вечерами из-за копий голого леса ночь поднимала калено-красный огромный щит месяца. Он мглисто сиял над притихшими хуторами кровавыми отсветами войны и пожаров. И от его нещадного немеркнувшего света рождалась у людей невнятная тревога, нудился скот. Лошади и быки, лишаясь сна, бродили до рассвета по базам. Выли собаки, и задолго до полуночи вразноголось начинали перекликиваться кочета. К заре заморозок ледком оковывал мокрые ветви деревьев. Ветром стлकивало их, и они звенели, как стальные стремяна. Будто конная невидимая рать шла левобережьем Дона, темным лесом, в сизой тьме, позвякивая оружием и стремянами.

Почти все татарские казаки, бывшие на Северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части, медленно оттягивавшиеся к Дону. Каждый день являлся кто-либо из запоздавших. Иной – для того чтобы надолго расседлать строевого коня и ждать прихода красных, засунув боевое снаряжение в стог соломы или под застреху сарая, а другой, отворив занесенную снегом калитку, только вводил коня на баз и, пополнив запас сухарей, переспав ночь с женкой, поутру выбирался на шлях, с бугра в остатний раз глядел на белый, мертвый простор Дона, на родимые места, кинутые, быть может, навсегда.

Кто зайдет смерти наперед? Кто разгадает конец человеческого пути?... Трудно шли кони от хутора. Трудно рвали от спекшихся сердец казаки жалость к близким. И по этой перенесенной поземкой дороге многие мысленно возвращались домой. Много тяжелых думок было передумано по этой дороге... Может, и соленая, как кровь, слеза, скользнув по крылу седла, падала на стынущее стремя, на искусанную шипами подков дорогу. Да ведь на том месте по весне желтый лазоревый цветок расставанья не вырастет?

В ночь, после того как приехал из Вешенской Петро, в мелеховском курене начался семейный совет.

– Ну что? – спросил Пантелей Прокофьевич, едва Петро перешагнул порог. – Навоевался? Без погон приехал? Ну иди-иди, поручкайся с братом, матерю порадуй, жена вон истосковалась... Здорово, здорово, Петяша... Григорий! Григорь Пантелевич, что же ты на пече, как сурок, лежишь? Слазь!

Григорий свесил босые ноги с туго подтянутыми штрипками защитных шаровар и, с улыбкой почесывая черную, в дремучем волосе грудь, глядел, как Петро, перехилившись, снимает португую, деревянными от мороза пальцами шарит по узлу башлыка. Дарья, безмолвно и улыбочиво засматривая в глаза мужа, расстегивала на нем петли полушубка, опасливо обходила с правой стороны, где рядом с кобурой нагана сизо посвечивала привязанная к поясу ручная граната.

На ходу коснувшись щекой заиндевеливших усов брата, Дуняшка выбежала убрать коня. Ильинична, вытирая завеской губы, готовилась целовать «старшенького». Около печи хлопотала Наталья. Вцепившись в подол ее юбки, жались детишки. Все ждали от Петра слова, а он, кинув с порога хриплое: «Здорово живете!» – молча раздевался, долго обметал сапоги просяным венником и, выпрямив согнутую спину, вдруг жалко задрожал губами, как-то потерянно прислонился к спинке кровати, и все неожиданно увидели на обмороженных, почерневших щеках его слезы.

– Служивый! Чего это ты? – под шутливостью хороня тревогу и дрожь в горле, спросил старик.

– Пропали мы, батя!

Петро длинно покривил рот, шевельнул белесыми бровями и, пряча глаза, высморкался в грязную, провонявшую табаком утирку.

Григорий ушиб ласкавшегося к нему кота, – крикнув, соскочил с печки. Мать заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него:

– Чадушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленького положить? Да ты иди, садись, щи охолонуть. Голодный, небось?

За столом, нянча на коленях племянника, Петро оживился: сдерживая волнение, рассказал об уходе с фронта 28-го полка, о бегстве командного состава, о Фомине и о последнем митинге в Вешенской.

– Как же ты думаешь? – спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилую руку.

– И думать нечего. Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне сготовьте, – повернулся он к матери.

– Отступить, значит?

Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кисете, да так и остался с высыпавшимся из щепоти табаком, ожидая ответа.

Петро встал, крестясь на мутные, черного письма, иконы, смотрел сурово и горестно:

– Спаси Христос, наелся!.. Отступить, говоришь? А то как же? Чего же я останусь? Чтобы мне краснопузые кочан срубили? Может, вы думаете оставаться, а я... Не, уж я поеду! Офицеров они не милуют.

– А дом как же? Стал быть, бросим?

Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья:

– Вы уедете, а мы должны оставаться? Хороши, нечего сказать! Ваше добро будем оберегать!.. Через него, может, и жизни лишись! Стори оно вам ясным огнем! Не останусь я!

Даже Наталья, и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи, выкрикнула:

– Ежели хутор миром тронется – и мы не останемся! Пеши уйдем!

– Дуры! Сучки! – иступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза, невольно ища костыль. – Стервы, мать вашу курицу! Цыцте, окаянные! Мущинское дело, а они равняются... Ну давайте бросим все и пойдем куда глаза глядят! А скотину куда денем? За пазуху покладем? А курень?..

– Вы, бабочки, чисто умом тронулись! – обиженно поддержала его Ильинична. – Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули, да вот тактаки и кинуть? Нет уж! – Она поджала губы, вздохнула. – Идите, а я с места не тронусь. Нехай лучше у порога убьют – все легче, чем под чужим плетнем сдыхать!

Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минуту все замолчали. Дуняшка, надвизывавшая наголенок чулка, подняла от спиц голову, шепотом сказала:

– Скотину с собой можно угнать... Не оставаться же из-за скотины.

И опять бешенство запалило старика. Он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не упал, споткнувшись о лежавшего у печки козленка. Остановившись против Дуняшки, оранул:

– Погоним! А старая корова починает – это как? Докель ты ее догонишь? Ах ты, фитинов в твою дыхало! Бездомовница! Поганка! Гнида! Наживал-наживал им – и вот что припало услышать!.. А овец? Ягнят куда денешь?.. Ох, ох, су-у-укина дочь! Молчала бы!

Григорий искося глянул на Петра и, как когда-то, давным-давно, увидел в карих родных глазах его озорную, подтрунивающую и в то же время смиренно-почтительную улыбку, знакомую дрожь пшеничных усов. Петро молниеносно мигнул, весь затрясся от сдерживаемого хохота. Григорий и в себе радостно ощутил эту несвойственную ему за последние годы податливость на смех, не таясь засмеялся глухо и раскатисто.

– Ну вот!.. Слава богу... Погутадили! – Старик гневно шибнул в него взглядом и сел, отвернувшись к окну, расшитому белым пухом инея.

Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство.

Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и засушила две суммы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитый пшеницейгарновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника: сняв шапку, тихо притворив за собой желтую дверь...

Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке показался Аникушка, гнавший на водопой корову. Поздоровались.

– Собрался в отступ, Аникей?

– Мне собраться, как голому подпоясаться. Мое – во мне, а чужое будет при мне!

– Нового что слышно?

– Новостей много, Прокофич!

– А что? – встревожился Пантелей Прокофьевич, воткнув в ручищу саней топор.

– Красные что не видно³ будут. Подходят к Вёшкам. Человек видал с Большого Громка, рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей... У них жида да китайцы, загреби их в пыль! Мало мы их, чертей косоглазых, побили!

– Режут?!

– Ну а то нюхают! А тут чигуня⁴ проклятая! – Аникушка заматерился и пошел мимо плетня, на ходу договаривая: – Задонские бабы дымки наварили, поют их, чтоб лиха им не делали, а они напьются, другой хутор займут и шебаршат.

Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. А потом взял вахли⁵, захромал на гумно надергать на дорогу сена. Он вытащил из прикладка железный крюк и, все еще не почувствовав неотвратимости отъезда, стал дергать сено похуже, с бурьяном (доброе он всегда приберегал к весенней пахоте), но одумался и, досадуя на себя, перешел к другому стогу. До его сознания как-то не дошло, что вот через несколько часов он покинет баз и хутор и поедет куда-то на юг и, может быть, даже не вернется. Он надергал сена и снова, по-старому, потянулся к граблям, чтобы подгрести, но, отдернув руку, как от горячего, вытирая вспотевший под треухом лоб, вслух сказал:

³ Что не видно – вот-вот, очень скоро.

⁴ Чига, чигуня – насмешливое прозвище верхнедонских казаков.

⁵ Вахли – сетка, в которой носят сено.

– Да на что ж мне его беречь-то теперь? Все одно ить помечут коням под ноги, потравят зазря али сожгут.

Хряпнув об колено грабельник, он заскрипел зубами, понес вахли с сеном, старчески шаркая ногами, сгорбясь и постарев спиной.

В курень он не вошел, а, приоткрыв дверь, сказал:

– Собирайтесь! Зараз буду запрягать. Как бы не припоздниться.

Уже накинул на лошадей шлейки, уложил в задок чумал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят седлать коней, снова пошел к куреню.

В курене творилось чудное: Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды.

– Это что же такое? – в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял.

– А вот! – Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил: – Ревут. И мы никуда не поедem! Ехать – так всем, а не ехать – так никому! Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедem добро спасать? А убивать будут – на ихних глазах помрем!

– Раздевайся, батя! – Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинель и шашку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка.

Старик надел треух, но сейчас же снова снял его и, подойдя к переднему углу, закрепстил широким, машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех:

– Ну, коли так – остаемся! Укрой и оборони нас, царица небесная! Пойду распрягать.

Прибежал Аникушка. В мелеховском курене поразили его сплошь смеющиеся, веселые лица.

– Чего же вы?

– Не поедут наши казаки! – за всех ответила Дарья.

– Вот так хны! Раздумали?

– Раздумали! – Григорий нехотя оскалил рафинадно-синюю подковку зубов, подмигнул: – Смерть – ее нечего искать, она и тут налапает.

– Офицеры не едут, а нам и бог велел! – И Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон.

XIV

В Вешенской на заборах трепыхались фоминские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в Каргинской, в тридцати пяти верстах от Вешенской, находился штаб Северного фронта. В ночь на 4 января пришел отряд чеченцев, и спешно, походным порядком, от станицы Усть-Белокалитвенской двигался на фоминский мятежный полк карательный отряд войскового старшины Романа Лазарева.

Чеченцы должны были 5-го идти в наступление на Вешенскую. Разведка их уже побывала на Белогорке. Но наступление сорвалось: перебежчик из фоминских казаков сообщил, что значительные силы Красной Армии ночуют на Гороховке и 5-го должны быть в Вешенской.

Краснов, занятый прибывшими в Новочеркасск союзниками, пытался воздействовать на Фомина. Он вызвал его к прямому проводу Новочеркасск – Вешенская. Телеграф, до этого настойчиво выстукивавший «Вешенская, Фомина», связал короткий разговор:

«Вешенская Фомина точка Урядник Фомин зпт приказываю образумиться и стать с полком на позицию точка Двинут карательный отряд точка Ослушание влечет смертную казнь точка Краснов».

При свете керосиновой лампы Фомин, расстегнув полушубок, смотрел, как из-под пальцев телеграфиста бежит, змеясь, испятнанная коричневыми блестками тонкая бумажная стружка, говорил, дыша в затылок телеграфисту морозом и самогонкой:

– Ну чего там брешет? Образумиться? Кончил он?.. Пиши ему... Что-о-о? Как это – нельзя? Приказываю, а то зараз зоб с потрохами вырву!

И телеграф застучал:

«Новочеркасск атаману Краснову точка Катись под такую мать точка Фомин».

Положение на Северном фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить «карающую дивизию» против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью он и пригласил союзников в поездку по фронту.

В слободе Бутурлиновке был устроен смотр только что вышедшему из боя Гундоровскому георгиевскому полку. Краснов после смотра стал около полкового штандарта. Поворачиваясь корпусом вправо, зычно крикнул:

– Кто служил под моей командой в Десятом полку – шаг вперед!

Почти половина гундоровцев вышла перед строй. Краснов снял папаху, крест-накрест поцеловал ближнего к нему немолодого, но молодецкого вахмистра. Вахмистр рукавом шинели вытер подстриженные усы, обмер, растерянно вытаращил глаза. Краснов перецеловался со всеми полчанинами. Союзники были поражены, недоуменно перешептывались. Но удивление сменили улыбки и сдержанное одобрение, когда Краснов, подойдя к ним, пояснил:

– Это те герои, с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжеца и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом.

...По обеим сторонам солнца, как часовые у денежного ящика, мертво стояли радужные, в белой опояси столбы. Холодный северо-восточный ветер горнистом трубил в лесах, мчался по степи, разворачиваясь в лаву, опрокидываясь и круша ошметиненные каре бурьянов. К вечеру 6 января (над Чиром уже завесой повисли сумерки) Краснов, в сопровождении офицеров английской королевской службы – Эдвардса и Олкотта, и французов – капитана Бартело и лейтенанта Эрлиха, прибыл в Каргинскую. Союзники – в шубах, в мохнатых заячьих папах, со смехом, ежась и постукивая ногами, вышли из автомобилей, овеянные запахами сигар и одеколона. Согревшись на квартире богатого купца Левочкина, напившись чаю, офицеры вместе с Красновым и командующим Северным фронтом генерал-майором Ивановым пошли в школу, где должно было состояться собрание.

Краснов долго говорил перед настороженными толпами казаков. Его слушали внимательно, хорошо. Но когда он в речи стал живописно изображать «зверства большевиков», творимые в занимаемых ими станицах, из задних рядов, из табачной сини кто-то крикнул в сердцах:

– Неправда! – И сорвал впечатление.

Наутро Краснов с союзниками спешно уехал в Миллерово.

Столь же поспешно эвакуировался штаб Северного фронта. По станице до вечера рыскали чеченцы, вылавливали не хотевших отступить казаков. Ночью был подожжен склад огнеприпасов. До полуночи, как огромный ворох горящего хвороста, трещали винтовочные патроны; обвалью прогрохотали взорвавшиеся снаряды. На другой день, когда на площади шло молебствие перед отступлением, с Каргинского бугра застрочил пулемет. Пули вешним градом забарабанили по церковной крыше, и все в беспорядке хлынуло в степь. Лазарев со своим отрядом и немногочисленные казачьи части пытались заслонить отступающих: пехота цепью легла за ветряком, 36-я Каргинская батарея под командой каргинца, есаула Федора Попова, обстреляла беглым огнем наступающих красных, но вскоре взялась на передки. А пехоту красная конница обошла с хутора Латышева и, прижучив в ярах, изрубила человек двадцать каргинских стариков, в насмешку окрещенных кем-то «гайдамаками».

XV

Решение не отступать вновь вернуло в глазах Пантелея Прокофьевича силу и значимость вещам.

Вечером вышел он метать скотине и, уже не колеблясь, надергал сена из худшего приклада. На темном базу долго со всех сторон охаживал корову, удовлетворенно думая: «Починает, дюже толстая. Уж не двойню ли господь даст?» Все ему опять стало родным, близким; все, от чего он уже мысленно отрешился, обрело прежнюю значительность и вес. Он уже успел за короткий предвечерний час и Дуняшку выругать за то, что мякину просыпала у катуха и не выдолбила льда из корыта, и лаз заделать, пробитый в плетне боровом Степана Астахова. Кстати спросил у Аксиньи, выскочившей закрыть ставни, про Степана – думает ли ехать в отступ? Аксинья, кутаясь в платок, певуче говорила:

– Нет, нет, где уж ему уехать! Лежит зараз на пече, вроде лихоманка его трепет... Лоб горячий, и на нутро жалится. Захворал Степа. Не поедет...

– И наши тоже. И мы, то есть, не поедем. Чума его знает, к лучшему оно али нет...

Смеркалось. За Доном, за серой пропастью леса, в зеленоватой глубине жгуче горела Полярная звезда. Окраина неба на востоке крылась багрянцем. Вставало зарево. На раскидистых рогах осокоя торчала срезанная горбушка месяца. На снегу смыкались невнятные тени. Темнели сугробы. Было так тихо, что Пантелей Прокофьевич слышал, как на Дону у проруби кто-то, наверное Аникушка, долбил лед пешней. Льдинки брызгали и бились, стеклянно вызываивая. Да на базу размеренно хрустели сеном быки.

В кухне зажгли огонь. В просвете окна скользнула Наталья. Пантелея Прокофьевича потянуло к теплу. Он застал всех домашних в сборе. Дуняшка только что пришла от Христининой жены. Опорожняла чашку с накваской и, боясь, как бы не перебили, торопливо рассказывала новости.

В горнице Григорий смазал винтовку, наган, шашку; завернул в полотенце бинокль, позвал Петра:

– Ты свое прибрал? Неси. Надо схоронить.

– А что, ежели обороняться придется?

– Молчал бы уж! – усмехнулся Григорий. – Гляди, а то найдут, за мотню на ворота повесят.

Они вышли на баз. Оружие, неведомо почему, спрятали порознь. Но новенький черный наган Григорий сунул в горнице под подушку.

Едва лишь поужинали и среди вялых разговоров стали собираться спать – на базу хрипато забрехал цепной кобель, кидаясь на привязи, хрипя от душившего ошейника. Старик вышел посмотреть, вернулся с кем-то, по брови укутанным башлыком. Человек при полном боевом, туго стянутый белым ремнем, войдя, перекрестился; изо рта, обведенного инеем, похожего на белую букву «о», повалил пар:

– Должно, не узнаете меня?

– Да ить это сват Макар! – вскрикнула Дарья.

И тут только Петро и все остальные угадали дальнего родственника, Макара Ногайцева, – казака с хутора Сингина, – известного во всем округе редкостного песенника и пьяницу.

– Каким тебя лихом занесло? – улыбался Петро, но с места не встал.

Ногайцев, содрав с усов, покидал к порогу сосульки, потопал ногами в огромных, подшитых кожей валенках, не спеша стал раздеваться.

– Одному, сдается, скучно ехать в отступ – дай-ка, думаю, заеду за сватами. Слух поймел, что обои вы дома. Заеду, говорю бабе, за Мелеховыми, все веселей будет.

Он отнес винтовку и поставил у печки рядом с рогаками, вызвав у баб улыбки и смех. Подсумок сунул под загнетку, а шашку и плетъ почетно положил на кровать. И на этот раз Макар пахуче дышал самогонкой, большие, навывкате, глаза дымились пьяным хмельком, в мокром колтуне бороды белел ровный набор голубоватых, как донские ракушки, зубов.

– С Сингиных аль не выступают казаки? – спросил Григорий, протягивая шитый бисером кисет.

Гость кисет отвел рукой:

– Не занимаюсь табачком... Казаки-то? Кто уехал, а кто сурчину ищет, где бы схорониться. Вы-то поедете?

– Не поедут наши казаки. Ты уж не мани их! – испугалась Ильинична.

– Неужели остаетесь? Ажник не верю! Сват Григорий, верно? Жизни решается, братушки!

– Что будет... – вздохнул Петро и, внезапно охваченный огненным румянцем, спросил: – Григорий! Ты как? Не раздумал? Может, поедем?

– Нет уж.

Табачный дым окутал Григория и долго колыхался над курчеватым смоляным чубом.

– Коня твоего отец убирает? – не к месту спросил Петро.

Тишина захрюкала надолго. Только прялка под ногой Дуняшки шмелем жужжала, навевая дрему.

Ногайцев просидел до белой зорьки, все уговаривая братьев Мелеховых ехать за Донец. За ночь Петро два раза без шапки выбегал седлать коня и оба раза шел расседлывать, пронзаемый грозными Дарьиными глазами.

Занялся свет, и гость засобирился. Уже одетый, держась за дверную скобку, он значительно покашлял, сказал с потаенной угрозой:

– Может, оно и к лучшему, а только всхомянетесь вы посла. Доведется нам вернуться отсель – мы припомним, какие красным на Дон ворота отворяли, оставались им служить...

С утра густо посыпал снег. Выйдя на баз, Григорий увидел, как из-за Дона на переезд ввалился чернеющий ком людей. Лошади восьмеркой тащили что-то, слышались говор, понуканье, матерная ругань. Сквозь метель, как в тумане, маячили седые силуэты людей и лошадей. Григорий по четверной упряжке угадал: «Батарея... Неужели красные?» От этой мысли сдвоило сердце, но, поразмыслив, он успокоил себя.

Раздерганная толпа приближалась к хутору, далеко обогнув черное, глядевшее в небо жерло полыньи. Но на выезде переднее орудие, сломав подмытый у берега ледок, обрушилось одним колесом. Ветер донес крик ездовых, хруст крошащегося льда и торопкий, скользящий перебор лошадиных копыт. Григорий прошел на скотиний баз, осторожно выглянул. На шинелях всадников разглядел засыпанные снегом погоны, по обличью угадал казаков.

Минут пять спустя в ворота въехал на рослом, ширококрупном коне стариковатый вахмистр. Он слез у крыльца, чумбур привязал к перилам, вошел в курень.

– Кто тут хозяин? – спросил он, поздоровавшись.

– Я... – ответил Пантелей Прокофьевич, испуганно ждавший следующего вопроса: «А почему ваши казаки дома?»

Но вахмистр кулаком расправил белые от снега, витые и длинные, как аксельбанты, усы, попросил:

– Станишники! Помогите, ради Христа, выручить орудие! Провалилось у берега по самые ося... Может, бечевы есть? Это какой хутор? Заблудились мы. Нам бы в Еланскую станицу надо, но такая посыпала – зги не видать. Малшрут мы потеряли, а тут красные вот-вот хвост прищемют.

– Я не знаю, ей-богу... – замялся старик.

– Чего тут знать! Вон у вас казаки какие... Нам и людей бы – надо помочь.

– Хвораю я, – сбрыхнул Пантелей Прокофьевич.

– Что ж вы, братцы! – Вахмистр, как волк, не поворачивая шеи, оглядел всех. Голос его будто помолодел и выпрямился. – Аль вы не казаки? Значит, нехай пропадает войсковое имущество? Я за командира батареи остался, офицеры поразбегались, неделю вот с коня не схожу, обморозился, пальцы на ноге поотпали, но я жизни решуся, а батарею не брошу! А вы... Тут нечего! Добром не хотите – я зараз кликну казаков, и мы вас... – вахмистр со слезой и гневом выкрикнул: – заставим, сукины сыны! Большевики! В гроб вашу мать! Мы тебя, дед, самого запряжем, коли хошь! Иди народ кличь, а не пойдут, – накажи бог, вернусь на энтот бок и хутор ваш весь с землей смешаю...

Он говорил как человек, не совсем уверенный в своей силе. Григорию стало жаль его. Схватил шапку, сурово, не глянув на расхोдившегося вахмистра, сказал:

– Ты не разорайся. Нечего тут! Выручить поможем, а там езжай с богом.

Положив плетни, батарею переправили. Народу сошлось немало. Аникушка, Христоня, Томилин Иван, Мелеховы и с десяток баб при помощи батарейцев выкатили орудия и зарядные ящики, пособили лошадям взять подъем. Обмерзшие колеса не крутились, скользили по снегу. Истощенные лошади трудно брали самую малую горку. Номера, половина которых разбежалась, шли пешком. Вахмистр снял шапку, поклонился, поблагодарил помогавших и, поворачиваясь в седле, негромко приказал:

– Батарея, за мной!

Вслед ему Григорий глядел почтительно, с недоверчивым изумлением. Петро подошел, пожевал ус и, словно отвечая на мысль Григория, сказал:

– Кабы все такие были! Вот как надо тихий Донто оборонять!

– Ты про усатого? Про вахмистра? – спросил, подходя, заплустанный по уши Христоня. – И гляди, стал быть, дотянет свои пушки. Как он, язви его, на меня плетью заманись! И ударил бы, – стал быть, человек в отчаянности. Я не хотел идтить, а потом, признаться, спужался. Хучь и валенков нету, а пошел. И скажи, на что ему, дураку, эти пушки? Как шkodливая свинья с колодкой: и трудно и не на добро, а тянет...

Казаки разошлись, молча улыбаясь.

XVI

Далеко за Доном – время перевалило уже за обед – пулемет глухо выщелкал две очереди и смолк.

Через полчаса Григорий, не отходивший от окна в горнице, ступил назад, до скул оделся пепельной синевой:

– Вот они!

Ильинична ахнула, кинулась к окну. По улице вроссыпь скакали восемь конных. Они на рысях дошли до мелеховского база, – приостановившись, оглядели переезд за Дон, чернотропный проследок, стиснутый Доном и горой, повернули обратно. Сытые лошади их, мотая куце обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогносцировавшая хутор, скрылась. Спустя час Татарский налил скрипом шагов, чужою, окающей речью, собачьим брехом. Пехотный полк, с пулеметами на саях, с обозом и кухнями, перешел Дон и разлился по хутору.

Как ни страшен был этот первый момент вступления вражеского войска, но смешливая Дуняшка не вытерпела и тут: когда разведка повернула обратно, она фыркнула в завеску, выбежала на кухню. Наталья встретила ее испуганным взглядом:

– Ты чего?

– Ох, Наташенька! Милушка!.. Как они верхами ездют! Уж он по седлу взад-вперед, взад-вперед... А руки в локтях болтаются. И сами – как из лоскутов сделанные, все у них трясется!

Она так мастерски воспроизвела, как ерзали в седлах красноармейцы, что Наталья добежала, давась смехом, до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного внимания свекра.

Пантелей Прокофьевич в мелком трясучем ознобе бесцельно передвигал по лавке в бокоуше дратву, шилья, баночку с березовыми шпильками и все поглядывал в окно сузившимся, затравленным взглядом.

А в кухне расходились бабы, словно не перед добром: пунцовая Дуняшка с мокрыми от слез глазами, блестевшими, как зерна обрызганного росой паслена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые подковы крашенных бровей, она хохотала, хрипло и сдавленно выговаривая:

– Небось, шаровары до дыр изотрет!.. Такой-то ездок... Луку выгнет!..

Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех.

– Чудно глядеть на ихнюю езду? – спросил он. – А им не жалко. Побьют спину коню – другого подцепют. Мужики! – И с бесконечным презрением махнул рукой. – Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: «Мал-ти поёдим, гляди – и доёдим». Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют!.. Эх! – Он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы.

Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с маху видать – старый фронтовик. Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы.

– Оставь! – чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы.

– За что убил собаку? Помешала? – спросил Григорий, став на пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку:

– А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!

– Но-но, брось, Александр! – подходя и смеясь, проговорил рослый рыжебровый красноармеец. – Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, проходите.

Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки. И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла – запахом дальних путин.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

– Ты в белых был?

– Да...

– Вот... Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а? Золотые погоны?

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолки Григория холодными, безулыбчивыми глазами, и все постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

– Офицер ведь? Признавайся! Я по выправке вижу; сам, чай, германскую сломал.

– Был офицером. – Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

– Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелять...

Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным.

И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка, виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, не подвластное разуму проявление слабости. «Как нашкодившая собака перед хозяином», – стыдом ожгла его мысль, и на миг выросло перед глазами: такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в смерти, подходил к нему и кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом...

Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке...

Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугуна со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил:

– Богу, значит, не молитесь?

Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот остальных он ответил:

– И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили... – Запнулся, стиснул брови. – Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам!

– Так, так... Ученые люди – они, конечно, достигли, – испуганно согласился Пантелей Прокофьевич.

Против каждого Дарья положила по ложке, но Александр отодвинул свою, попросил:

– Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве это ложка? Огрызок!

Дарья пыхнула порохом:

– Свою надо иметь, ежели чужими требуете.

– Но, ты помолчи, молодка! Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру эту.

Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил:

– Откушай сама сначала, мамаша.

– Чего мне их кушать? Может, пересоленные? – испугалась старуха.

– Ты откушай, откушай! Не подсыпала ли ты гостям порошка какого...

– Зачерпни! Ну? – строго приказал Пантелей Прокофьевич и сжал губы. После этого он принес из бокоуши сапожный инструмент, подвинул к окну ольховый обрубок, служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник и сел со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал.

Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того как один из красноармейцев назвал ее «барышней» и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили.

– У вас можно курить? – спросил рыжебровый.

– Своих трубокуров полно, – неохотно сказала Ильинична.

Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало, к сердцу прилиwała щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время

держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор.

– В каком полку служили, ваше благородие?

– В разных.

– Сколько наших убил?

– На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти...

– Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я – грешник – тоже не одного на мушку посадил.

– Я тебе вот что скажу, товарищ... Негоже ты ведешь себя: будто вы хутор с бою взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную сторону пришел... Собак стрелять – это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро...

– Ты мне не указывай! Знаем мы вас! «Фронт бросили»! Если б не набили вам, так не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому.

– Оставь, Александр! Надоело! – просил рыжебровый.

Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом:

– Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет!

– Я вас не трогаю.

– Нет, трогаешь!

Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стенящим шепотом:

– Что ты делаешь?.. На черта он тебе сдался? Чего ты с ним связываешься! И себя и нас сгубишь! Сядь!.. – Он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню.

Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обретали слабый блеск.

– Гриша! Гришенька! Родненький! Не связывайся! – просила Наталья, дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.

– Чего ж я не уехал? – спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью. – Не буду. Цыц! Сердцу нет мочи терпеть!

Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один, в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил:

– Сколько поставлено на квартиру?

– Семь человек, – за всех ответил рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки.

– Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь.

Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз въехали две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел.

– Пошел бы, коней глянул, – шепнула Ильинична, проходя мимо старика.

Тот только плечами дрогнул, а пойти – не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и расстелил им полсть, в голова положил свой полушубок.

– Сам служил, знаю, – примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага.

Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию...

Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровати. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, вповалку разместились на полсти. Наталья хотела потушить лампу, у нее внушительно спросили:

– Тебя кто просил гасить огонь? Не смей! Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь.

Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке. Григорий, закинув руки, лежал молча.

«Ушли бы мы, – стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий. – Ушли бы в отступ, и вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и тешились над ней, как тогда в Польше над Франей...»

Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами:

– Эх, скучно без бабы! Зубами бы грыз... Но хозяин – он офицер... Простым, которые сопливые, они жен не уступают... Слышишь, хозяин?

Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос рыжебрового зазвучал угрожающе:

– Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание. Этак не годится! Сейчас вот иду к комиссару или к ротному. Слышишь? Мы с тобой поговорим!

Пристыла тишина. Слышно было только, как рыжебровый, сердито сопя, натягивает сапоги. Через минуту он вышел, хлопнув дверью.

Наталья, не удержавшись, громко всхлипнула. Григорий рукой трясуце гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правой спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы натальной рубахи.

– Молчи, молчи! – чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь.

Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, присосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголовый храп, стал одеваться.

Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный рыжебровому, радостно дрогнул, услышав под окном шаги и негодующий голос:

– И вот он все привязывается... что делать... беда... товарищ комиссар...

Шаги зазвучали в сенцах, скрипнула, отворившись, дверь. Чей-то молодой командный голос приказал:

– Александр Тюрников, одевайся и сейчас же уходи отсюда. Ночевать будешь у меня на квартире, а завтра мы тебя будем судить за недостойное красноармейца поведение.

Григорий встретил доброжелательный острый взгляд стоявшего у дверей, рядом с рыжебровым, человека в черной кожаной куртке.

Он по виду молод и по-молодому суров; с чересчур уж подчеркнутой твердостью были сжаты его губы, обметанные юношеским пушком.

– Беспокойный гость попался, товарищ? – обратился он к Григорию, чуть приметно улыбаясь. – Ну, теперь спите, мы его завтра утихомирим. Всего доброго. Идем, Тюрников!

Ушли, и Григорий вздохнул облегченно. А наутро рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал:

– Вот, хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске – он из Луганска родом – расстреляли мать и сестру. Оттого он такой...

Ну спасибо. Прощайте. Да, вот детишкам чуть было не забыл! – И, к несказанной радости ребят, вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара.

Пантелей Прокофьевич растроганно глядел на внуков.

– Ну вот им гостинец! Мы его, сахар-то, года полтора уж не видим... Спаси Христос, товарищ!.. Кланяйтесь дяденьке! Полюшка, благодари!.. Милушка, чего же ты набычилась, стоишь?

Красноармеец вышел, и старик – гневно к Наталье:

– Необразованность ваша! Хучь бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброго человека? Эх!

– Беги! – приказал Григорий.

Наталья, накинув платок, догнала рыжебрового за калиткой. Красная от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели.

XVII

В полдень через хутор быстрым маршем прошел 6-й Мценский краснознаменный полк, захватив кое у кого из казаков строевых лошадей. За бугром далеко погромыхивали орудийные раскаты.

– По Чиру бой идет, – определил Пантелей Прокофьевич.

На вечерней заре и Петро и Григорий не раз выходили на баз.

Слышно было по Дону, как где-то, не ближе Усть-Хоперской, глухо гудели орудия и совсем тихо (нужно было припадать ухом к промерзлой земле) выстрачивали пулеметы.

– Неплохо и там ослаивают! Генерал Гусельщиков там с гундоровцами, – говорил Петро, обметая снег с колен и папах, и уж совершенно не к разговору добавил: – Коней заберут у нас. Твой конь, Григорий, из себя видный, видит бог – возьмут!

Но старик догадался раньше их. На ночь повел Григорий обоих строевых поить, вывел из дверей, увидел: кони улегают на передние. Провел своего – хромот воя; то же и с Петровым. Позвал брата:

– Обезножили кони, во дела! Твой на правую, а мой на левую жалится. Засечки не было... Разве мокрецы?

На лиловом снегу, под неяркими вечерними звездами кони стояли понуро, не играли от застоя, не взбрыкивали. Петро зажег фонарь, но его остановил пришедший с гумна отец:

– На что фонарь?

– Коня, батя, захромали. Должно, ножная.

– А ежели ножная – плохо? Хочешь, чтоб какой-нибудь мужик заседлал да с базу повел?

– Оно-то неплохо...

– Ну, так скажи Гришке, что ножную я им сделал. Молоток взял, по гвоздю вогнал ниже хряща, теперь будут хромать, покель фронт стронется.

Петро покрутил головой, пожевал ус и пошел к Григорию.

– Поставь их к яслям. Это отец нарочно их похромил.

Стариковская догадка спасла. В ночь снова загремел от гомона хутор. По улицам скакали конные. Лязгая на выбоинах и раскатах, проползла и свернулась на площади батарея. 13-й кавалерийский полк стал в хуторе на ночлег. К Мелеховым только что пришел Христоня, сел на корточки, покурив.

– Нет у вас чертей? Не ночуют?

– Покуда бог миловал. Какие были-то – весь курень провоняли духом своим мужичьим! – недовольно бормотала Ильинична.

– У меня были. – Голос Христоня сполз на шепот, огромная ладонь вытерла смоченную слезинкой глазницу. Но, тряхнув здоровенной, с польской котел головой, Христоня побряхтел и уже как будто застыдился своих слез.

– Ты чего, Христоня? – посмеиваясь, спросил Петро, первый раз увидавший Христинины слезы. Они-то и привели его в веселое настроение.

– Воронка взяли... На германскую на нем ходил... Нужду вместе, стал быть... Как человек был, ажник, стал быть, умнее... Сам и подседлал. «Седлай, говорит, а то он мне не дается». – «Что ж я тебе, говорю, всю жисть буду седлать, что ли? Взял, говорю, стал быть, сам и руководствуй». Оседлал, а он хучь бы человек был... Огарок! Стал быть, в пояс мне, до стремени ногой не достанет... К крыльцу подвел, сел... Закричал я, как дите. «Ну, – говорю бабе, – кохал, поил, кормил...» – Христоня опять перешел на присвистывающий быстрый шепот и встал. – На конюшню глянуть боюсь! Обмертвел баз...

– У меня добро. Трех коней подо мной сразило, это четвертый, его уж не так... – Григорий прислушался. За окном хруст снега, звяк шашек, приглушенное «тррррр!». – Идут и к нам. Как рыба на дух, проклятые! Либо кто сказал...

Пантелей Прокофьевич засуетился, руки сделались лишними, некуда стало их девать.

– Хозяин! А ну, выходи!

Петро надел внапашку зипун, вышел.

– Где кони? Выводи!

– Я не против, но они, товарищи, в ножной.

– В какой ножной? Выводи! Мы не так берем, ты не бойся. Бросим своих.

Вывел по одному из конюшни.

– Третья там. Почему не выводишь? – спросил один из красноармейцев, присвечивая фонарем.

– Это матка, сжеребанная. Она старюка, ей уж годов сто...

– Эй, неси седла!.. Постой, в самом деле хромают... В господа бога, в креста, куда ты их, калечь, ведешь?! Станови обратно!.. – свирепо закричал державший фонарь.

Петро потянул за недоуздки и отвернул от фонаря лицо со сморщенными губами.

– Седла где?

– Товарищи забрали ноне утром.

– Врешь, казак! Кто взял?

– Ей-богу!.. Накажи господь – взяли! Мценский полк проходил и забрал. И седла и даже два хомута взяли.

Матерясь, трое конных уехали. Петро вошел, пропитанный запахами конского пота и мочи. Твердые губы его ежились, и он не без похвальбы хлопнул Христоню по плечу.

– Вот как надо! Кони захромали, а седла взяли, мол... Эх, ты!..

Ильинична погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке.

– Посумерничаем, а то принесет нелегкая ночевщиков.

* * *

В эту ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних казаков. Аникушка пришел за Мелеховыми.

– Красные?! Что нам красные? Они что же, не хрещенные, что ли? Такие ж, как и мы, русские. Ей-богу. Хотите – верьте, хотите – нет... И я их жалею... А что мне? Жид с ними один, то же самое – человек. Жидов мы в Польше перебили... Хм! Но этот мне стакан дымки набуздal. Люблю жидов!.. Пойдем, Григорь! Петя! Ты не гребуй мною...

Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал:

– Пойди, а то скажут: мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла.

Вышли на баз. Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизячным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки.

Насурмленные брови ее, раскрывшись на лице, под неярким, процеженным сквозь тучи, светом месяца блестели бархатной черниной.

– Мою бабу подпаивают... Только ихнего дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз имею... – бормотал Аникушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в сугробину.

Под ногами сахарно похрупывал снег, зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочи неба срывалась метель.

Ветер нес огонь из сигарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно налегал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на при-
смирившую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки-хлопья, покрывали хутор, скре-
стившиеся шляхи, степь, людской и звериный след...

У Аникушки в хате – дыхнуть нечем. Черные острые языки копоти снуют из лампы, а за табачным дымом никому не видать. Гармонист-красноармеец не так ли режет «саратов-скую», до отказа выбирая мехи, раскидав длинные ноги. На лавках сидят красноармейцы, бабы-соседки. Аникушкину жену голубит здоровенный дяденька в ватных защитных штанах и коротких сапогах, обремененных огромными, словно из музея, шпорами. Шапка мелкой седой смушки сдвинута у него на кучерявый затылок, на буром лице пот. Мокрая рука жжет Ани-
кушкиной жёнке спину.

А бабочка уже сомлела: слюняво покраснел у нее рот; она бы и отодвинулась, да моченьки нет; она и мужа видит, и улыбочивые взгляды баб, но вот так-таки нет сил снять со спины могу-
чую руку: стыда будто и не было, и она смеется пьяненько и расслабленно.

На столе глотки кувшинов разоткнуты, на весь курень спиртным дымком разит. Ска-
терть – как хлющ, а посреди хаты по земляному полу зеленым чертом вьется и выбивает час-
туху взводный 13-го кавалерийского. Сапоги на нем хромовые, на одну портянку, галифе –
офицерского сукна. Григорий смотрит от порога на сапоги и галифе и думает: «С офицера
добыто...» Потом переводит взгляд на лицо: оно исчерно-смугло, лоснится потом, как круп
вороного коня, круглые ушные раковины оттопырены, губы толсты и обвислы. «Жид, а лов-
кий!» – решает про себя Григорий. Ему и Петру налили самогонки. Григорий пил осторожно,
но Петро захмелел скоро. И через час выделявал уже по земляному полу «казачка», рвал каб-
луками пыль, хрипло просил гармониста: «Чаще, чаще!» Григорий сидел возле стола, щел-
кая тыквенные семечки. Рядом с ним – рослый сибиряк, пулеметчик. Он морщил ребяче-
ски-округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шипящие, вместо «ц» произнося «с»: «селый
полк», «месяс» выходило у него.

– Колчака разбили мы. Краснова вашего сапнем как следует – и все. Во как! А там ступай
пахать, земли селая пропастишша, бери ее, заставляй родить! Земля – она, как баба: сама не
дается, ее отнять надо. А кто поперек станет – убить. Нам вашего не надо. Лишь бы равными
всех поделать...

Григорий соглашался, а сам все исподтишка поглядывал на красноармейца. Для опасе-
ний как будто не было оснований. Все глазели, одобрительно улыбаясь, на Петра, на его округ-
лые и ладно подогнанные движения. Чей-то трезвый голос восхищенно восклицал: «Вот черт!
Здорово!» Но случайно Григорий поймал на себе внимательно прищуренный взгляд одного
курчавого красноармейца, старшины, и насторожился, пить перестал.

Гармонист заиграл польку. Бабы пошли по рукам. Один из красноармейцев, с обеленной
спиной, качнувшись, пригласил молоденькую бабенку – соседку Христони, но та отказалась и,
захватив в руку сборчатый подол, перебежала к Григорию:

– Пойдем плясать!

– Не хочу.

– Пойдем, Гриша! Цветок мой лазоревый!

– Брось дурить, не пойду!

Она тащила его за рукав, насильственно смеясь. Он хмурился, упирался, но, заметив,
как она мигнула, встал. Сделали два круга, гармонист свалил пальцы на басы, и она, улучив
секунду, положила Григорию голову на плечо, чуть слышно шепнула:

– Тебя убить сговариваются... Кто-то доказал, что офицер... Беги...

И – громко:

– Ох, что-то голова закружилась!

Григорий повеселел. Подошел к столу, выпил кружку дымки. Дарью спросил:

– Спился Петро?

– Почти готов. Снялся с катушки.

– Веди домой.

Дарья повела Петра, удерживая толчки его с мужской силой. Следом вышел Григорий.

– Куда, куда? Ты куда? Не-ет! Ручку поцелую, не ходи!

Пьяный в дым Аникушка прилип к Григорию, но тот глянул такими глазами, что Аникушка растопырил руки и шатнулся в сторону.

– Честной компании! – Григорий тряхнул от порога шапкой.

Курчавый, шевельнув плечами, поправил пояс, пошел за ним.

На крыльце, дыша в лицо Григорию, поблескивая лихими светлыми глазами, шепотом спросил:

– Ты куда? – И цепко взялся за рукав Григорьевой шинели.

– Домой, – не останавливаясь, увлекая его за собой, ответил Григорий. Взволнованно-радостно решил: «Нет, живьем вы меня не возьмете!»

Курчавый левой рукой держался за локоть Григория; тяжело дыша, ступал рядом. У калитки они задержались. Григорий услышал, как скрипнула дверь, и сейчас же правая рука красноармейца лапнула бедро, ногти царапнули крышку кобуры. На одну секунду Григорий увидел в упор от себя синее лезвие чужого взгляда и, ворохнувшись, поймал руку, рвавшую застежку кобуры. Крякнув, он сжал ее в запястье, со страшной силой кинул себе на правое плечо, нагнулся и, перебрасывая издавна знакомым приемом тяжелое тело через себя, рванул руку книзу, ощущая по хрустящему звуку, как в локте ломаются суставы. Русая, витая, как у ягненка, голова, давя снег, воткнулась в сугроб.

По проулку, пригибаясь под плетнем, Григорий кинулся к Дону. Ноги, пружинисто отталкиваясь, несли его к спуску... «Лишь бы заставы не было, а там...» На секунду стал: позади на виду весь Аникушкин баз. Выстрел. Хищно прожужжала пуля. Выстрелы еще. Под гору, по темному переезду – за Дон. Уже на середине Дона, взыв, пуля вгрызлась возле Григория в чистую круговину пузырчатого льда, осколки посыпались, обжигая Григорию шею. Перебежав Дон, он оглянулся. Выстрелы все еще хлопали пастушьим арапником. Григория не согрела радость избавления, но чувство равнодушия к пережитому смутило. «Как за зверем били! – механически подумал он, опять останавливаясь. – Искать не будут, побоятся в лес идти... Руку-то ему полечил неплохо. Ах, подлюга, казака хотел голыми руками взять!»

Направился к зимним скирдам, но, из опаски, миновал их, долго, как заяц на жировке, вязал петли следов. Ночевать решил в брошенной копне сухого чакана. Разгреб вершину. Из-под ног скользнула норка. Зарылся с головой в гнилостно-пахучий чакан, подрожал. Мыслей не было. Краешком, нехотя подумал: «Заседать завтра и махнуть через фронт к своим?» – но ответа не нашел в себе, притих.

К утру стал зябнуть. Выглянул. Над ним отрадн и трепетно сияла утренняя зарница, и в глубочайшем провале иссиня-черного неба, как в Дону на перекате, будто показалось дно: предрассветная дымчатая лазурь в зените, гаснущая звездная россыпь по краям.

XVIII

Фронт прошел. Отгремели боевые деньки. В последний день пулеметчики 13-го кавполка перед уходом поставили на широкоспинные тавричанские сани моховский граммофон, долго вскачь мылили лошадей по улицам хутора. Граммофон хрипел и харкал (в широкую горловину

трубы попадали снежные ошметья, летевшие с конских копыт), пулеметчик в сибирской ушастой шапке беспечно прочищал трубу и орудовал резной ручкой граммофона так же уверенно, как ручками затыльника. А позади серой воробыиной тучей сыпали за санями ребяташки; цепляясь за грядущку, орали: «Дядя, заведи энту, какая свистит! Заведи, дядя!» Двое счастливейших сидели на коленях у пулеметчика, и тот в перерывах, когда не крутил ручки, заботливо и сурово вытирал варежкой младшему парнишке облупленный, мокрый от мороза и великого счастья нос.

Потом слышно было, как около Усть-Мечетки шли бои. Через Татарский редкими валками тянулись обозы, питавшие продовольствием и боевыми припасами 8-ю и 9-ю красные армии Южного фронта.

На третий день посыльные шли подворно, оповещали казаков о том, чтобы шли на сход.

– Краснова атамана будем выбирать! – сказал Антип Брехович, выходя с мелеховского база.

– Выбирать будем или нам его сверху спустют? – поинтересовался Пантелей Прокофьевич.

– Там как придется...

На собрание пошли Григорий и Петро. Молодые казаки собрались все. Стариков не было. Один только Авдеич Брех, собрав курагот зубоскалов, тачал о том, как стоял у него на квартире красный комиссар и как приглашал он его, Авдеича, занять командную должность.

– «Я, говорит, не знал, что вы – вахмистр старой службы, а то – с нашим удовольствием, заступай, отец, на должность...»

– На какую же? За старшего – куда пошлют? – скалился Мишка Кошевой.

Его охотно поддерживали:

– Начальником над комиссарской кобылой. Подхвостницу ей подмывать.

– Бери выше!

– Го-го!..

– Авдеич! Слышь! Это он тебя в обоз третьего разряда малосолкой заведовать.

– Вы не знаете делов всех... Комиссар ему речи разводит, а комиссаров вестовой тем часом к его старухе прилабунился. Шшупал ее. А Авдеич слюни распустил, сопли развешал – слушает...

Остановившимися глазами Авдеич осматривал всех, глотал слюну, спрашивал:

– Кто последние слова производил?

– Я! – храбрился кто-то позади.

– Видали такого сукина сына? – Авдеич поворачивался, ища сочувствия, и оно приходило в изобилии:

– Он гад, я давно говорю.

– У них вся порода такая.

– Вот был бы я помоложе... – Щеки у Авдеича загорались, как гроздь калины. – Был бы помоложе, я бы тебе показал развязку! У тебя и выходка вся хохлячья! Мазница ты таганрогская! Гашник хохлячий!..

– Чего же ты, Авдеич, не возьмешься с ним? Кужонок супротив тебя.

– Авдеич отломил, видно...

– Боится, пупок у него с натуги развяжется...

Рев провожал отходившего с достоинством Авдеича.

На майдане кучками стояли казаки. Григорий, давным-давно не выдавший Мишки Кошевого, подошел к нему.

– Здорово, полчок!

– Слава богу.

– Где пропадал? Под каким знаменем службицу ломал? – Григорий улыбнулся, сжимая руку Мишки, засматривая в голубые его глаза.

– Ого! Я, браток, и на отводе, и в штрафной сотне на Калачовском фронте был. Где только не был! Насилу домой прибился. Хотел к красным на фронте перебеж, но за мной глядели дюжей, чем мать за непробованной девкой глядит. Иван-то Алексеевич надясь приходит ко мне, бурка на нем, походная справа: «Ну, мол, винтовку на изготовку – и пошел». Я только что приехал, спрашиваю: «Неужели будешь отступать?» Он плечами дрогнул, говорит: «Велят. Атаман присылал. Я ить при мельнице служил, на учете у них». Попрощался и ушел. Я думал, он и справди отступил. На другой день Мценский полк уже прошел, гляжу – является... Да вот он метется! Иван Алексеевич!

Вместе с Иваном Алексеевичем подошел и Давыдка-вальцовщик. У Давыдки – полон рот кипенных зубов, Давыдка смеется, будто железку нашел... А Иван Алексеевич помял руку Григория в своих мослаковатых пальцах, навывлет провонявших машинным маслом, поцокал языком:

– Как же ты, Гриша, остался?

– А ты как?

– Ну мне-то... Мое дело другое.

– На мое офицерство указываешь? Рисканул! Остался... Чуть было не убили... Когда погнались, зачали стрелять – пожалел, что не ушел, а теперь опять не жалею.

– За что привязались-то? Это из Тринадцатого?

– Они. Гуляли у Аникушки. Кто-то доказал, что офицер я. Петра не тронули, ну а меня... За погоны возгорелось дело. Ушел за Дон, руку одному кучерявому попортил трошки... Они за это пришли домой, мое все дочиста забрали. И шаровары и поддевки. Что на мне было, то и осталось.

– Ушли бы мы в красные тогда, перед Подтелковым... Теперь не пришлось бы глазами моргать. – Иван Алексеевич скис в улыбку, стал закуривать.

Народ все подходил. Собрание открыл приехавший из Вешенской подхорунжий Лапченков, сподвижник Фомина.

– Товарищи станишники! Советская власть укоренилась в нашем округе. Надо установить правление, выбрать исполком, председателя и заместителя ему. Это – один вопрос. А затем привез я приказ от окружного Совета, он короткий: сдать все огнестрельное и холодное оружие.

– Здорово! – ядовито сказал кто-то сзади. И потом надолго во весь рост встала тишина.

– Тут нечего, товарищи, такие возгласы выкрикивать! – Лапченков вытянулся, положил на стол папаху. – Оружие, понятно, надо сдать, как оно не нужное в домашности. Кто хочет идтить на защиту Советов, тому оружие дадут. В трехдневный срок винтовочки снесите. Затем приступаем к выборам. Председателя я обяжу довести приказ до каждого, и должен он печать у атамана забрать и все хуторские суммы.

– Они нам давали оружие, что лапу на нее накладывают?..

Спрашивающий еще не закончил фразы, к нему дружно все повернулись. Говорил Захар Королев.

– А на что она тебе сдалась? – просто спросил Христоня.

– Она мне не нужна. Но уговору не было, как мы пуцали Красную Армию через свой округ, чтобы нас обезоруживали.

– Верно!

– Фомин говорил на митинге!

– Шашки на свои копейки справляли!

– Я со своим винтом с германской пришел, а тут отдай!

– Оружие, скажи, не отдадим!

– Казаков обобрать норовят! Я что же значу без вооружения? На каком полозу я должен ехать? Я без оружия, как баба с задратым подолом, – голый.

– При нас останется!

Мишка Кошевой чинно попросил слова:

– Дозвольте, товарищи! Мне даже довольно удивительно слушать такие разговоры. Военное положение или нет у нас?

– Да нехай хучь сзади военного!

– А раз военное – гутарить долго нечего. Вынь и отдай! Мыто не так делали, как занимали хохлачы слободы?

Лапченков погладил свою папашку и как припечатал:

– Кто в этих трех днях не сдаст оружие, будет предан революционному суду и расстрелян, как контра.

После минуты молчания Томилин, кашляя, прохрипел:

– Просим выбирать власть!

Двинули кандидатуры. Накричали с десятков фамилий. Один из молодятни крикнул:

– Авдеича!

Однако шутка успеха не возымела. Первым голосовали Ивана Алексеевича. Прошел единогласно.

– Дальше и голосовать нечего, – предложил Петро Мелехов.

Сход охотно согласился, и товарищем председателя выбрали без голосования Мишку Кошевого.

Мелеховы и Христоня не успели до дома дойти, а Аникушка уж повстречался им на полдороге. Под мышкой нес винтовку и патроны, завернутые в женину завеску. Увидел казаков – засовестился, шмыгнул в боковой переулок. Петро глянул на Григория, Григорий – на Христоню. Все, как по сговору, рассмеялись.

XIX

Казакует по родимой степи восточный ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры сровняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизанная ветрами, белая голая равнина. Будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клетот. Ветром далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в тишине нечаянно тронутая басовая струна.

Но под снегом все же живет степь. Там, где, как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заборонованная с осени земля, – там, вцепившись в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелкови-сто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябко жмется к хрушкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаявший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время! Будут биться в нем перепела, будет звенеть над ним апрельский жаворонок. И так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер. До поры, пока вызревший, полнозерный колос, мятый ливнями и лютыми ветрами, не поникнет усатой головой, не ляжет под косой хозяина и покорно уронит на току литые, тяжеловесные зерна.

Все Обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани. Черный слушок полз с верховьев Дона, по Чиру, по Цуцкану, по Хопру, по Бланке, по большим и малым рекам, усыпанным казачьими хуторами. Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и

трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Будто бы то обстоятельство, что бросили верхнедонцы фронт, оправданием не служит, а суд до отказа прост: обвинение, пара вопросов, приговор – и под пулеметную очередь. Говорили, что в Казанской и Шумилинской вроде уже не одна казачья голова валяется в хворосте без призрения... Фронтовики только посмеивались: «Брехня! Офицерские сказочки! Кадеты давно нас Красной Армией пугают!»

Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда фронт прошел, немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча, постель жестка и родная жена немила.

Иные уже и жалковали о том, что не ушли за Донец, но сделанного не воротишь, уроненной слезы не поднимешь...

В Татарском казаки собирались вечерами на проулках, делились новостями, а потом шли пить самогон, кочуя из куреня в курень. Тихо жил хутор и горьковато. В начале мясоеда одна лишь свадьба прозвенела бубенцами: Мишка Кошевой выдал замуж сестру. Да и про ту говорили с ехидной издевкой:

– Нашли время жениться! Приспичило, видно!

На другой день после выборов власти хутор разоружился до двора. В моховском доме, занятом под ревком, теплые сени и коридор завалили оружием. Петро Мелехов тоже отнес свою и Григория винтовки, два нагана и шашку. Два офицерских нагана братья оставили, сдали лишь те, что остались еще от германской.

Облегченный Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в керосине прижавевшие части двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки.

– Это откуда? – У Петра даже усы обвисли от удивления.

– Батя привез, когда ездил ко мне на Филоново.

У Григория в сужившихся прорезях глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапая бока смоченными в керосине руками. И так же неожиданно оборвал смех, по-волчьи клацнув зубами.

– Винтовки – это что!.. Ты знаешь, – зашептал он, хотя в курене никого чужого не было, – отец мне нынче признался, – Григорий снова подавил улыбку, – у него пулемет есть.

– Бре-ше-ешь! Откуда? Зачем?

– Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислого молока, а по-моему, брешет, старый черт! Украл, небось! Он ить, как жук навозный, тянет все, что и поднять не в силах. Шепчет мне: «Пулемет у меня есть, зарытый на гумне. Пружина в нем, гожая на нарезные крючки, но я ее не трогал». – «Зачем он тебе?» – спрашиваю. «На дорожную пружину позавидовал, может, ишо на что сгодится. Штука ценная, из железа...»

Петро обозлился, хотел идти в кухню к отцу, но Григорий рассоветовал:

– Брось! Помоги почистить и прибрать. Чего ты с него спросишь?

Протирая стволы, Петро долго сопел, а потом раздумчиво сказал:

– Оно, может, и правда... сгодится. Нехай лежит.

В этот день Томилин Иван принес слух, что в Казанской идут расстрелы. Покурили у печки, погутарили. Петро под разговор о чем-то упорно думал. Думалось с непривычки трудно, до бисера на лбу. После ухода Томилина он заявил:

– Зараз поеду на Рубежин к Яшке Фомину. Он у своих нынче, слышал я. Говорят, он окружным ревкомом заворачивает, как-никак – кочка на ровном месте. Попрошу, чтоб, на случай чего, заступился.

В пичкатые сани Пантелей Прокофьевич запряг кобылу. Дарья укуталась в новую шубу и о чем-то долго шепталась с Ильиничной. Вместе они шмыгнули в амбар, оттуда вышли с узлом.

– Чего это? – спросил старик.

Петро промолчал, а Ильинична скороговоркой шепнула:

– Я тут маслица насбирала, блюла на всяк случай. А теперь уж не до масла, отдала его Дарье, нехай Фоминихе гостинца повезет, может, он сгодится Петюшке. – И заплакала. – Служили, служили, жизней решались, и теперь за погоны за ихние, того и гляди...

– Цыц, голосуха! – Пантелей Прокофьевич с сердцем кинул в сено кнут, подошел к Петру: – Ты ему пшенички посули.

– На черта она ему нужна! – вспыхнул Петро. – Вы бы, батя, лучше пошли к Аникушке дымки купили, а то – пшеницы!

Под полой Пантелей Прокофьевич принес ведерный кувшин, самогона, отозвался одобчительно:

– Хороша водка, мать ее курица! Как николаевская.

– А ты уж хлебнул, кобель старый! – насыпалась на него Ильинична; но старик вроде не слышал, по-молодому захромал в курень, сыто, по-котовски жмурясь, побрякивая и вытирая рукавом обожженные дымкой губы.

Петро тронул со двора и, как гость, ворота оставил открытыми.

Вез и он подарок могущественному теперь сослуживцу: кроме самогона – отрез довоенного шевиота, сапоги и фунт дорогого чая с цветком. Все это раздобыл он в Лисках, когда 28-й полк с боем взял станцию и рассыпался грабить вагоны и склады...

Тогда же в отбитом поезде захватил он корзину с дамским бельем. Послал ее с отцом, приезжавшим на фронт. И Дарья, на великую зависть Наталье и Дуняшке, защеголяла в невиданном досель белье. Тончайшее заграничное полотно было белее снега, шелком на каждой штучке были вышиты герб и инициалы. Кружева на панталонах вздымались пышнее пены на Дону. Дарья в первую ночь по приезде мужа легла спать в панталонах.

Петро, перед тем как гасить огонь, снисходительно ухмыльнулся:

– Мушинские исподники подцепила и носишь?

– В них теплее и красивше, – мечтательно ответила Дарья. – Да их и не поймешь: кабы они мушинские – были б длиннее. И кружева... На что они вашему брату?

– Должно, благородного звания мушины с кружевами носят. Да мне-то что? Носи, – сонно почесываясь, ответил Петро.

Вопрос этот его не особенно интересовал. Но в последующие дни ложился он рядом с женой, уже с опаской отодвигаясь, с невольным почтением и беспокойством глядя на кружева, боясь малейше коснуться их и испытывая некоторое отчуждение от Дарьи. К белью он так и не привык. На третью ночь, озлившись, решительно потребовал:

– Скидай к черту штаны свои! Негоже их бабе носить, и они вовсе не бабские. Лежишь, как барыня! Ажник какая-то чужая в них!

Утром встал он раньше Дарьи. Покашливая и хмурясь, попробовал примерить панталоны на себя. Долго и настороженно глядел на завязки, на кружева и на свои голые, ниже колен волосатые ноги. Повернулся и, нечаянно увидев в зеркале свое отображение с пышными складками назади, плюнул, чертыхнулся, медведем полез из широчайших штанин. Большим пальцем ноги зацепился в кружевах, чуть не упал на сундук и, уже разъярясь всерьез, разорвал завязки, выбрался на волю. Дарья сонно спросила:

– Ты чего?

Петро обиженно промолчал, сопя и часто поплеывая. А панталоны, которые неизвестно на какой пол шились, Дарья в тот же день, вздыхая, сложила в сундук (там лежало еще немало вещей, которым никто из баб не мог найти применения). Сложные вещи эти должны были впоследствии перешить на лифчики. Вот юбки Дарья использовала; были они неведомо для чего короткие, но хитрая владелица надставила сверху так, чтобы нижняя юбка была длиннее

длинной верхней, чтобы виднелись на полчетверти кружева. И пошла Дарья щеголять, заметать голландским кружевом земляной пол.

Вот и сейчас, отправляясь с мужем на гости, была она одета богато и видно. Под донской, опушенной поречьем шубой и кружева исподней виднелись, и верхняя, шерстяная, была добротна и нова, чтобы поняла вылезшая из грязи в князи фоминская жена, что Дарья не простая казачка, а как-никак офицерша.

Петро помахивал кнутом, чмокал губами. Брюхатая кобылка с облезлой кобаржиной трюпком бежала по накатанной дороге, по Дону. В Рубежин приехали к обеду. Фомин действительно оказался дома. Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, когда отец его принес из Петровых саней, запущенных инеем, осыпанный сенной трухой кувшин.

– Ты что-то, односум, и глаз не кажешь, – говорил Фомин протяжно, приятным баском, искоса поглядывая на Дарью широко поставленными голубыми глазами женолюба, и с достоинством закручивал ус.

– Сам знаешь, Яков Ефимыч, частя шли, время сурьезное...

– Оно-то так. Баба! Ты бы нам огурцов, капустки, рыбки донской сушеной.

В тесной хате было жарко натоплено. На печи лежали детишки: похожий на отца мальчик, с такими же голубыми, широкими в поставе глазами, и девочка. Подвыпив, Петро приступил к делу:

– Гутарют по хуторам, будто чеки приехали, добираются до казаков.

– Трибунал Пятнадцатой Инзенской дивизии в Вешенскую приехал. Ну а что такое? Тебе-то что?

– Как же, Яков Ефимыч, сами знаете, офицер считаюсь. Я-то офицер, можно сказать, – одна видимость.

– Ну так что?

Он чувствовал себя хозяином положения. Хмель сделал его самоуверенным и хвастливым. Фомин все приосанивался, оглаживая усы, смотрел исподлобно, властно.

Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и подобострастно улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты».

– Вместе служили с тобой. Плохого про меня ты не можешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет! Покарай бог, я всегда стоял за казаков!

– Мы знаем. Ты, Петро Пантелеевич, не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронут. А кое до кого мы доберемся. Кой-кого возьмем за хиршу⁶. Тут много гадов засело. Остались, а сами – себе на уме. Оружие хоронют... Ты-то отдал свое? А?

Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на минуту растерялся, кровь заметно кинулась ему в лицо.

– Ты-то сдал? Ну чего же ты? – наседали Фомин, перегибаясь через стол.

– Сдал, конечно, Яков Ефимыч, ты не подумай... я с открытой душой.

– С открытой? Знаем мы вас... Сам тутошний. – Он пьяно подмигнул, раскрыл плоскозубый ядреный рот. – С богатым казаком одной рукой ручкайся, а в другой нож держи, а то саданет... Собаки! Откровенных нету! Я перевидал немало людей. Предатели! Но ты не бойся, тебя не тронут. Слово – олово!

Дарья закусывала холодцом, из вежливости почти не ела хлеба. Ее усердно угощала хозяйка.

Уехал Петро уже перед вечером, обнадеженный и веселый.

⁶ Хирша – загривок.

* * *

Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проводить свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинична собирала тогда Митьку в дорогу, в доме были суэта, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним. А на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да кстати погоревать вместе о наступивших временах.

Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько зубов, дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к вечерне. Пантелея Прокофьевича с ногшибануло при взгляде на свата: под распахнутой шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну, красные петлички вызывающе сияли на стоячем воротнике старинного мундира, старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове по самые восковые крупные уши надвинут картуз с кокардой.

– Что ты, дедушка! Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит, кокарду?

– Ась? – Дед Гришака приставил к уху ладонь.

– Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя на такое подобное. При Советской власти нельзя, закон возбраняет.

– Я, соколик, верой-правдой своему белому царю служил. А власть эта не от бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то! – Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении дома. – Ты к Мирону, что ль? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная!.. Твои-то остались? Ась? А то что ж... Вот они какие казачкой-то пошли! Наказному, небось, присягали. Войску нужда подошла, а они остались при женах... Натальюшка жива-здоровая?

– Живая... Кресты – воротись – сыми, сват! Не полагается их теперь. Господи боже, одурел ты, сваток?

– Ступай с богом! Молод меня учить-то! Ступай себе.

Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой.

– Служивого нашего ветрел? Вот наказание! И не приберет его господь. – Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату. – Нацепил свои висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. Хучь силом с него сымай. Чисто дите стал, ничего не понимает.

– Нехай тешится, недолго уж ему... Ну как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали анчихристы? – Лукинична подседа к казакам, горестно подперлась. – У нас, сват, ить какая беда... Четырех коней взяли, оставили кобылу да стригуна. Разорили вчистую!

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому, с вызревшей злостью:

– А через что жизнь рухнула? Кто причиной? Вот эта чертова власть! Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело – всех сравнять? Да ты из меня душу тyani, я не согласен! Я всю жисть работал, хрип гнул, потом омывался, и чтобы мне жить равно с энтим, какой пальцем не ворохнул, чтоб выйтить из нужды? Нет уж, трошки погодим! Хозяйственному человеку эта власть жилы режет. Через это и руки отваливаются: к чему зараз наживать, на кого работать? Нынче наживешь, а завтра придут да под гребло... И ишо, сваток: был у меня надысь односум с хутора Мрыхина, разговор вели... Фронт-то вот он, возля Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить...

– Как так – пособить? – с тревогой, почему-то шепотом спросил Пантелей Прокофьевич.

– Как пособить? Власть эту пихнуть! Да так пихнуть, чтобы она опять очутилась ажник в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, надо вразумить! Пора! А то поздно будет... Казаки, односум говорил, волнуются и у них. Только бы подружейнень взятыся! – И перешел на быстрый, захлебывающийся шепот: – Частя прошли, а сколько их тут осталось? Считанные люди! По хуторам одни председатели... Головы им поотвязать – пустяковое дело. А в Вёшках, ну что ж... Миромсбором навалиться – на куски порвем! Наши в трату не дадут, соединимся... Верное дело, сват!

Пантелей Прокофьевич встал. Взвешивая слова, опасливо советовал:

– Гляди, поскользнешься – беды наживешь! Казаки-то хучь и шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах ноне толковать не со всяким можно... Молодых вовсе понять нельзя, вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизнь! Не жизнь, а потемки.

– Не сумлевайся, сват! – снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. – Я мимо не скажу. Люди – что овцы: куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путь! Глаза на эту власть открыть надо. Тучи не будет – гром не ударит. Я казакам прямо говорю: восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали – всех казаков перевестъ. Об этом как надо понимать?

У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска.

– Ну, что оно будет, Прокофич? Гутарют, расстрелы начались... Какая ж это жизнь? Гляди, как рухнулось все за эти года! Гасу нету, серников – тоже, одними конфетами Мохов напоследях торговал... А посевы? Супротив прежнего сколько сеют? Коней перевели. У меня вот забрали, у другого... Забирать-то все умеют, а разводить кто будет? У нас раньше, я ишо парнем был, восемьдесят шесть лошадей было. Помнишь, небось? Скакуны были, хучь калмыка догоняй! Рыжий с прозвездью был у нас тогда. Я на нем зайцев топтал. Выеду, оседламши, в степь, подыму зайца в бурьянах и сто сажень не отпущу – стопчу конем. Как зараз помню. – По лицу Мирона Григорьевича пролегла горячая улыбка. – Выехал так-то к ветрякам, гляжу – заяц копит прямо на меня. Выправился я к нему, он – виль, да под гору, да через Дон! На маслену дело было. Снег по Дону посогнало ветром, сколизь. Разгонись я за тем зайцем, конь посклизнулся, вдарился со всех ног и головы не приподнял. Затрусилось все на мне! Снял с него седло, прибегаю в куреня. «Батя, конь убится подо мной! За зайцем гнал». – «А догнал?» – «Нет». – «Седлай Вороного, догони, сукин сын!» Вот времена были! Жили – кохались казачки. Конь убится – не жалко, а надо зайца догнать. Коню сотня цена, а зайцу гривенник... Эх, да что толковать!

От свата Пантелей Прокофьевич ушел растерявшийся еще больше, насквозь отравленный тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то иные, враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, словно взбесившийся, запененный конь, и он уже не правил ею, а безвольно мотался на ее колышущейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть.

Мга нависла над будущим. Давно ли был Мирон Григорьевич богатейшим хозяином в округности? Но последние три года источили его мощь. Разошлись работники, вдвоятеро уменьшился посев, за так и за пьяно качавшиеся, обесцененные деньги пошли с база быки и кони. Было все будто во сне. И прошло, как текучий туман над Доном. Один дом с фигурным балконом и вылинявшими резными карнизами остался памяткой. Раньше времени высветлила седина лисью рыжевень коршуновской бороды, перекинулась на виски и поселилась там, вначале – как сибирек на супеси – пучками, а потом осилила рыжий цвет и стала на висках полновластной соленая седина; и уже тесня, отнимая по волоску, владела надлобьем. Да и в самом Мироне Григорьевиче свирепо боролись два этих начала: бунтовала рыжая кровь, гнала на

работу, понуждала сеять, строить сараи, чинить инвентарь, богатеть; но все чаще навевалась тоска – «Не к чему наживать. Пропадет!» – красила все в белый мертвенный цвет равнодушия. Страшные в своем безобразии, кисти рук не хватались, как прежде, за молоток или ручную пилку, а праздно лежали на коленях, шевеля изуродованными работой, грязными пальцами. Старость привело безвременье. И стала постыла земля. По весне шел к ней, как к немилой жене, по привычке, по обязанности. И наживал без радости и лишался без прежней печали... Забрали красные лошадей – он и виду не показал. А два года назад за пустяк, за копну, истоптанную быками, едва не запорол вилами жену. «Хапал Коршунов и наелся, обратно прет из него», – говорили про него соседи.

Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, попросил он старуху достать соленого арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти, пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его растрескались, лицо пожелтело, белки подернулись голубой эмалью. Бабка Дроздыха отворила ему кровь, нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь, крови. Но сознание к нему не вернулось, только лицо иссиня побелело да шире раскрылся чернозубый рот, с хлюпом вбравший воздух.

XX

В конце января Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка сидел в пустынном моховом доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двухспальная кровать, письменным столом. На подоконнике (в комнате был только один стул) полулежал присланный из Вешенской милиционер Ольшанов. Он молча курил, плевал далеко и искусно, каждый раз отмечая плевок новую кафельную плитку камина. За окнами стояло зарево звездной ночи. Покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов.

По крыльцу кто-то прошел, мягко похрустывая валенками.

– Приехал.

Мишка встал. Но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, с осевшей на бровях и усах изморозью.

– Я на огонек. Здорово живешь!

– Проходи, жалься.

– Не на что жалиться. Побрехать зашел да кстати сказать, чтоб в обывательские не назначали. Кони у нас в ножной.

– А быки? – Мишка сдержанно покосился.

– На быках какая ж езда? Сколизь.

Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван Алексеевич в бурке и по-бабьи завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул свежий, холодный воздух, запах сена и табачной гари.

– Замерз, замерз, ребятки!.. Григорий, здравствуй! Чего ты по ночам шалаешься?.. Черт эти бурки придумал: ветер сквозь нее, как через сито!

Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил:

– Ну, повидал я председателя. – Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевала его нетерпичка рассказать. – Вошел к нему в кабинет. Он поручкался со мной и говорит: «Садитесь, товарищ». Это окружной! А раньше как было? Генерал-майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть-любушка! Все ровные!

Его оживленное, счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были непонятны Григорию. Спросил:

– Чему ты возрадовался, Алексеев?

– Как – чему? – У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный дыркой подбородок. – Человека во мне увидали, как же мне не радоваться? Мне руку, как ровне, дал, посадил...

– Генералы тоже в рубашках из мешков стали последнее время ходить. – Григорий ребром ладони выпрямил ус, сощурился. – Я на одном видал и погоны, чернильным карандашом сделанные. Ручку тоже казакам давали...

– Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница?

– Нету разницы! – Григорий покачал головой.

– По-твоему, и власть одинаковая? За что же тогда воевали? Ты вот – за что воевал? За генералов? А говоришь – «одинаково».

– Я за себя воевал, а не за генералов. Мне, если напавдок гутарить, ни те, ни эти не по совести.

– А кто же?

– Да никто!

Ольшанов плюнул через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести не пришелся.

– Ты раньше будто не так думал.

Мишка сказал с целью уязвить Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело.

– И я и ты – все мы по-разному думали...

Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке поподробней о своей поездке и беседе с председателем, но разговор начал его волновать. Очертя голову, под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор:

– Ты нам голову пришел морочить, Григорий! Сам ты не знаешь, чего ты хочешь.

– Не знаю, – охотно согласился Григорий.

– Чем ты эту власть корить будешь?

– А чего ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел?

– Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь, с таким и гутарь. Понял? Власти тоже доже не касайся, потому – я председатель, и мне тут с тобой негоже спорить.

– Давай бросим. Да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя, – уж как хочешь – а поганая власть. Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим: чего она дает нам, казакам?

– Каким казакам? Казаки тоже разные.

– Всем, какие есть.

– Свободу, права... Да ты погоди!.. Постой, ты чего-то...

– Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать! – перебил Григорий. – Земли дает? Воли? Сравняет?.. Земли у нас – хоть заглонишь ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал? Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы – одно ярмо.

– Богатым казакам не нужна, а другим? Дурья голова! Богатых-то в хуторе трое, а энти бедные. А рабочих куда денешь? Нет, мы так судить с тобой не можем! Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не дадут – с мясом вырвем! Будя пановать! Заграбили землю...

– Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью ее полили, оттого, может, и родит наш чернозем.

– Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять – так равнять! А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизнь мутят!

– Постой, ты не ругайся! Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня в грудях накопело. Ты говоришь – равнять... Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось? Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они – куда равенство денется?.. Говорили на фронте: «Все ровные будем. Жалованье и командирам и солдатам одинаковое!..» Нет! Привада одна! Уж ежели пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры – ложись и помирай, хуже его не найдешь! Он такого же образования, как и казак: быкам хвосты учился крутить, а глядишь – вылез в люди и сделается от власти пьяный, и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке.

– Твои слова – контра! – холодно сказал Иван Алексеевич, но глаз на Григория не поднял. – Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя и не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не потаю – чужой ты стал. Ты Советской власти враг!

– Не ждал я от тебя... Ежли я думаю за власть, так я – контра? Кадет?

Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мягче сказал:

– Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходят. Сердцем доходят! Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. И я до многого дохожу ошупкой...

– Кончайте! – яростно крикнул Мишка.

Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал. Тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далек был от него и смотрел на жизнь с другого кургана, Иван Алексеевич на прощание сказал:

– Ты такие думки при себе держи. А то хоть и знакомец ты мне и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства! Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты поперек дороги нам не становись. Стопчем!.. Прощай!

Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог, и то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной яркостью. Он, в сущности, только высказал вгорячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, – родилось глухое неумолчное раздражение.

Мишка с Иваном Алексеевичем шли вместе. Иван Алексеевич начал снова рассказывать о встрече с окружным председателем, но, когда стал говорить, показалось – краски и значительность вылиняли. Он пытался вернуться к прежнему настроению и не смог: стояло что-то поперек, мешало радостно жить, хватать легкими пресный промороженный воздух. Помеха – Григорий, разговор с ним. Вспомнил, сказал с ненавистью:

– Такие, как Гришка, в драке только под ногами болтаются. Паскуда! К берегу не прибьется и плавает, как коровий помет в проруби. Ишо раз придет – буду гнать в шею! А начнет агитацию пущать – мы ему сидулку найдем... Ну а ты, Мишатка, что? Как дела?

Мишка только выругался в ответ, думая о чем-то своем.

Прошли квартал, и Кошевой повернулся к Ивану Алексеевичу, на полных, девичьих губах его блуждала потерявшаяся улыбка:

– Вот, Алексеевич, какая она, политика, злая, черт! Гутарь о чем хошь, а не будешь так кровя портить. А вот начался с Гришкой разговор... ить мы с ним – корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне – как брат... а вот начал городить, и до того я озлел, ажник сердце распухло, как арбуз в груди сделалось. Трусится все во мне! Кубыть, отнимает он у меня что-то, самое жалкое. Кубыть, грабит он меня! Так под разговор и зарезать можно. В ней, в этой войне, сватов, братьев нету. Начертился – и иди! – Голос Мишки задрожал непереносимой

обидай. – Я на него ни за одну отбитую девку так не серчал, как за эти речи. Вот до чего забрало!

XXI

Снег падал и таял на лету. В полдень в ярах с глухим шумом рушились снежные оползни. За Доном шумел лес. Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли, пронзали снег до самой земли, пригревшейся под гниющим покровом листа-падалицы. Уже манило пьяным ростепельным запахом весны, в садах пахло вишенником. На Дону появились прососы. Возле берегов лед отошел, и проруби затопило зеленой и ясной водой окраинцев.

Обоз, везший к Дону партию снарядов, в Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана Алексеевича; так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты, не ровен час, сбежишь!» – а остальных направил добывать подводы.

Нужно было высточить сорок семь пароконных подвод.

Емельян добрался и до Мелеховых.

– Запрягайте, в Боковскую снаряды везть!

Петро и усом не повел, буркнул:

– Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вешенскую.

Емельян, слова не говоря, – в конюшню. Петро выскочил за ним без шапки, окликнул:

– Слышишь? Погоди... Может, отставишь?

– Может, бросишь дуру трепать? – Емельян очень серьезно оглядел Петра, добавил: – Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них? Не молотком ли нечаянно с намерением суставы побили? Так ты мне не втирай очки! Я лошадей столько перевидал, сколько ты лошадиного помету. Запрягай! Коней или быков – все равно.

С подводой поехал Григорий. Перед тем как выехать, он вскочил в кухню; целуя детишек, торопливо кидал:

– Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерю слушайте. – И к Петру: – Вы обо мне не думайте. Я далеко не поеду. Ежели погонят дальше Боковской – брошу быков и вернусь. Только я в хутор не приду. Перегожу время на Сингином, у тетки... А ты, Петро, надбеги проведать... Что-то мне страшновато тут ждать. – И усмехнулся. – Ну, бывайте здоровы! Наташка, не скучай!

Около моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили ящики со снарядами, тронулись.

«Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую жизнь воевали, – все о том же думал Григорий под равномерный качкий ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном голову. – Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет... А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался... В старину, слышно, Дон татары обижали, шли отнимать землю, неволить. Теперь – Русь. Нет! Не помирюсь я! Чужие они мне и всем-то казакам. Казаки теперь почтунют. Бросили фронт, а теперь каждый, как я: ах! – да поздно».

Вблизи бурьяны над дорогой, холмистая зыбь, щетинистые буераки наплывали навстречу, а дальше снежные поля, кружась, шли на юг вровень с санями. Дорога разматывалась нескончаемо, угнетала скукой, клонила в сон.

Григорий лениво покрикивал на быков, дремал, ворочался возле увязанных ящиков. Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом июньских дней, незаметно уснул. Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стерегущим взглядом. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, бродило чувство, он любил Аксинью прежней изну-

ряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон. И радовался сну и принимал его, как жизнь. Аксинья была та же, что и пять лет назад, но пронизанная сдержанностью, тронутая холодком. Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос на шее (ими играл ветер), концы белой косынки... Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов. Навстречу, объезжая их, двигались многочисленные подводы.

– Чего везете, земляки? – хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков.

Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречных подводах долго молчали. Наконец кто-то ответил:

– Мертвяков! Тифозных...

Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. Наклески саней Григория на раскате ударились о торчавшую из проезжавших саней руку, и она отозвалась глухим, чугунным звоном... Григорий равнодушно отвернулся.

Приторный, зовущий запах донника наваял сон, мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Разящую и в то же время сладостную боль испытал Григорий, свалившись опять в сани, щекой касаясь желтой ветки донника. Кровоточило тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон.

XXII

Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек: Давыдка-вальцовщик, Тимофей, бывший моховский кучер Емельян и рябой чеботарь Филька. На них-то и опирался Иван Алексеевич в повседневной своей работе, с каждым днем все больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять обегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, со всем соглашались. Заметно преобладали молодые. Но и среди них не встречалось сочувствующих. Каменные лица, чужие, недоверчивые глаза, исподлобные взгляды видел на майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем, тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул:

– Развелись мы с хутором, товарищ Котляров! Набычился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами раненых красноармейцев в Вёшки везть – ни один не едет. Разведенным-то чижало в одном курене жить...

– А пьют! Дуром! – подхватил Емельян, мусоля трубочку. – Дымку в каждом дворе гонют.

Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало и его. Уходя вечером домой, попросил Ивана Алексеевича:

– Дай мне винтовку.

– На что?

– Вот тебе! Боюсь идтить с голыми руками. Или ты не видишь ничего? Я так думаю, надо нам кое-кого... Григория Мелехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашептывают они, гады, казакам... Своих из-за Донца ждут.

Ивана Алексеевича повело, невесело махнул рукой:

– Эх! Тут ежели начать выдергивать, так многих запевал выдернуть надо. Шатаются люди... А кое-кто и сочувствует нам, да на Мирона Коршунова оглядываются. Боятся, Митька его из-за Донца придет – потрошить будет.

Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской конноначальник привез предписание: обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную

цифру – сорок тысяч рублей. Развертали. Прошел день. Контрибуционных денег собралось два мешка, на восемнадцать тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округу. Оттуда прислали трех милиционеров и предписание: «Не уплативших контрибуцию арестовать и препроводить под конвоем в Вешенскую». Четырех дедов временно посадили в моховский подвал, где раньше зимовали яблоки.

Хутор запохожил на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, прижимая подешевевшую деньгу. Однако приспела и ему пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа двое: следователь по местным делам – молодой вешенский казак, служивший в 28-м полку, и другой, в тулупе поверх кожаной куртки. Они предъявили мандаты Ревтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинете. Спутник следователя, пожилой голо выбритый человек, деловито начал:

– По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев – всех, кто активно с нами боролся, давай на список. Следователю помощи. Он кое-кого знает.

Иван Алексеевич смотрел в выбритое, похожее на бабье лицо; перечисляя фамилии, упомянул Петра Мелехова, но следователь покачал головой:

– Это наш человек, Фомин просил его не трогать. Большевицки настроен. Мы с ним в Двадцать восьмом служили.

Написанный рукой Кошевого лег на стол лист графленой бумаги, вырванный из ученической тетради.

А через несколько часов на просторном моховском дворе, под присмотром милиционеров, уже сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с харчами и подводу под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый, как на смерть, во все новое, в дубленый полушубок, в чирики и чистые белые чулки на вбор, – сидел с краю, рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич Брех суетливо ходил по двору, то бесцельно заглядывал в колодец, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое, как яблоко, багровое, мокрое от пота лицо.

Остальные сидели молча. Угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. Заплаканная Лукинична застегивала на своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым бабьим платком, просила, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные глаза:

– А ты, Григорич, не горюй! Может, оно обойдется добром. Что ты так уж опустился весь? Госпо-о-оди!.. – Рот ее удлиняла, плоско растягивала гримаса рыдания, но она с усилием собирала губы в комок, шептала: – Проведать приеду... Грипку привезу, ты ить ее дюжей жалеешь...

От ворот крикнул милиционер:

– Подвода пришла! Клади сумки и трогайся! Бабы, отойди в сторону, нечего тут мокрость разводить!

Лукинична первый раз в жизни поцеловала рыжеволосую руку Мирона Григорьевича, оторвалась.

Бычинные сани медленно поползли через площадь к Дону.

Семь человек арестованных и два милиционера пошли позади. Авдеич приотстал, завывая чирик, и моложаво побежал догонять. Матвей Кашулин шел рядом с сыном. Майданников и Королев на ходу закуривали. Мирон Григорьевич держался за кошелку саней. А позади всех величавой тяжеловатой поступью шел старик Богатырев. Встречный ветер раздувал, заносил ему назад концы белой патриаршей бороды, прощально помахивая махрами кинутного на плечи шарфа.

В этот же пасмурный февральский день случилось диковинное.

За последнее время в хуторе привыкли к приезду служилых из округа людей. Никого не заинтересовало появление на площади пароконной подводы с зябко съжившимся рядом с кучером седоком. Сани стали у моховского дома. Седок вылез и оказался человеком пожилым, неторопливым в движениях. Он поправил солдатский ремень на длинной кавалерийской шинели, поднял с ушей наушники красного казачьего малахая и, придерживая деревянную коробку маузера, не спеша взошел на крыльцо.

В ревкоме были Иван Алексеевич да двое милиционеров. Человек вошел без стука, у порога расправил тронутый проседью короткий оклад бороды, баском сказал:

– Председателя мне нужно.

Иван Алексеевич округлившимся птичьим взглядом смотрел на вошедшего, хотел вскочить, но не смог. Он только по-рыбы зевал ртом и скреб пальцами ошарпанные ручки кресла. Постаревший Штокман смотрел на него из-под нелепого красного верха казачьего треуха; его узко сведенные глаза, не узнавая, глядели на Ивана Алексеевича и вдруг, дрогнув, сузились, посветлели, от углов брызнули к седым вискам расщепы морщин. Он шагнул к не успевшему встать Ивану Алексеевичу, уверенно обнял его и, целуя, касаясь лица мокрой бородой, сказал:

– Знал! Если, думаю, жив остался, он будет в Татарском председателем!

– Осип Давыдыч, вдарь!.. Вдарь меня, сукиного сына! Не верю я глазам! – плачуще заголосил Иван Алексеевич.

Слезы до того не пристали его мужественному смуглому лицу, что даже милиционер отвернулся.

– А ты поверь! – улыбаясь и мягко освобождая свои руки из рук Ивана Алексеевича, басил Штокман. – У тебя, что же, и сесть не на чем?

– Садись вот на креслу!.. Да откель же ты взялся? Говори!

– Я – с политотделом армии. Вижу, что ты никак не хочешь верить в мою доподлинность. Экий чудак!

Штокман, улыбаясь, хлопая по колену Ивана Алексеевича, бегло заговорил:

– Очень, браток, все просто. После того как забрали отсюда, осудили, ну, в ссылке встретил революцию. Организовали с товарищем отряд Красной гвардии, дрался с Дутовым и Колчаком. О, брат, там веселые дела были! Теперь загнали мы его за Урал – знаешь? И вот я на вашем фронте. Политотдел Восьмой армии направил меня для работы в ваш округ, как некогда жившего здесь, так сказать, знакомого с условиями. Примчал я в Вешенскую, поговорил в ревкоме с народом и в первую очередь решил поехать в Татарский. Дай, думаю, поживу у них, поработаю, помогу организовать дело, а потом уеду. Видишь, старая дружба не забывается? Ну, да к этому мы еще вернемся, а сейчас давай-ка поговорим о тебе, о положении, познакомимся с людьми, с обстановкой. Ячейка есть в хуторе? Кто тут у тебя? Кто уцелел? Ну что же, товарищи... пожалуй, оставьте нас на часок с председателем. Фу, черт! Въехал в хутор, так и пахло старым... Да, было время, а теперь времечко... Ну, рассказывай!

Часа через три Мишка Кошевой и Иван Алексеевич вели Штокмана на старую квартиру к Лукешке косой. Шагали по коричневому настилу дороги. Мишка часто хватался за рукав штокмановской шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из глаз или растает призраком.

Лукешка покормила старого квартиранта щами, даже ноздреватый от старости кусок сахар достала из потаенного угла сундука.

После чая из отвара вишневых листьев Штокман прилег на лежанку. Он слышал путанные рассказы обоих, вставлял вопросы, грыз мундштук и уже перед зарей незаметно уснул, уронив папиросу на фланелевую грязную рубаху. А Иван Алексеевич еще минут десять продолжал говорить, опомнился, когда на вопрос Штокман ответил храпком, и вышел, ступая на цыпочках, багровея до слез в попытках удержать рвущийся из горла кашель.

– Отлегло? – тихо, как от щекотки, посмеиваясь, спросил Мишка, едва лишь сошел с крыльца.

Ольшанов, сопровождавший арестованных в Вешенскую, вернулся с попутной подводой в полночь. Он долго стучался в окно горенки, где спал Иван Алексеевич. Разбудил.

– Ты чего? – Вышел опухший от сна Иван Алексеевич. – Чего пришел? Пакет, что ли?

Ольшанов поиграл плеткой:

– Казаков-то расстреляли.

– Брешешь, гад!

– Пригнали мы – сразу их на допрос и, ишо не стемнело, повели в сосны... Сам видал!..

Не попадая ногами в валенки, Иван Алексеевич оделся, побежал к Штокману.

– Каких отправили мы ноне – расстреляли в Вёшках! Я думал, им тюрьму дадут, а этак что же... Этак мы ничего тут не сделаем! Отойдет народ от нас, Осип Давыдович!.. Тут что-то не так. На что надо было сничтожать людей? Что теперь будет?

Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган последствиями, но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил:

– Ты не кричи. Хозяйку разбудишь...

Оделся, закурил, попросил еще раз рассказать причины, вызвавшие арест семи, потом холодно вато заговорил:

– Должен ты усвоить вот что, да крепко усвоить! Фронт в полутора верстах от нас. Основная масса казачества настроена к нам враждебно. И это – потому, что кулаки ваши, кулаки-казаки, то есть атаманы и прочая верхушка, пользуются у трудового казачества огромным весом, имеют вес, так сказать. Почему? Ну это же тоже должно быть тебе понятно. Казаки – особое сословие, военщина. Любовь к чинам, к «отцам-командирам» прививалась царизмом... Как это в служивской песне поется? «И что нам прикажут отцы-командиры – мы туда идем, рубим, колем, бьем». Так, что ли? Вот видишь! А эти самые отцы-командиры приказывали рабочие стачки разгонять... Казакам триста лет дурманили голову. Немало! Так вот! А разница между кулаком, скажем, Рязанской губернии и донским, казачьим кулаком очень велика! Рязанский кулак, ущемили его, – он шипит на Советскую власть, бессилен, из-за угла только опасен. А донской кулак? Это вооруженный кулак. Это опасная и ядовитая гадина! Он силен. Он будет не только шипеть, распускать порочащие нас слухи, клеветать на нас, как это делали, по твоим словам, Коршунов и другие, но и попытается открыто выступить против нас. Ну конечно! Он возьмет винтовку и будет бить нас. Тебя будет бить! И постарается увлечь за собой и остальных казаков, так сказать – среднеимущественного казака и даже бедняка. Их руками он норовит бить нас! В чем же дело! Уличен в действиях против нас? Готово! Разговор короткий – к стенке! И тут нечего слюнявиться жалостью: хороший, мол, человек был.

– Да я не жалею, что ты! – Иван Алексеевич замахал руками. – Я боюсь, как бы остальные от нас не откачнулись.

Штокман, до этого с кажущимся спокойствием потиравший ладонью крытую седоватым волосом грудь, вспыхнул, с силой схватил Ивана Алексеевича за ворот гимнастерки и, притягивая его к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель:

– Не откачнутся, если внушить им нашу классовую правду! Трудовым казакам только с нами по пути, а не с кулачьём! Ах, ты!.. Да кулаки же их трудом – их трудом! – живут. Жиреют!.. Эх ты, шляпа! Размагнитился! Душок у тебя... Я за тебя возьмусь! Этакая дубина! Рабочий парень, а слюни интеллигентские... Как какой-нибудь паршивенький эсеришка! Ты смотри у меня, Иван!

Выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал головой и, закулив, глотнул дымку, уже спокойнее закончил:

– Если по округу не взять наиболее активных врагов – будет восстание. Если своевременно сейчас изолировать их – восстания может не быть. Для этого не обязательно всех расстреливать. Уничтожить нужно только матерых, а остальных – ну хотя бы отправить в глубь России. Но вообще с врагами нечего церемониться! «Революцию в перчатках не делают», – говорил Ленин. Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю – да! Может быть, не всех, но Коршунова, например, незачем исправлять! Это ясно! А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело! Он опаснее остальных, вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме, – разговор заварного врага. Вообще же переживать тут нечего. На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего класса. Гибнут тысячами! О них – наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас, или мы их! Третьего не дано. Так-то, свет Алексеевич!

XXIII

Петро только что наметал скотине и вошел в курень, выбирая из варежек сенные остья. Сейчас же звякнула щеколда в сенцах.

Закутанная в черный ковровый платок Лукинична переступила порог. Мелко шагая, не поздоровавшись, она просеменила к Наталье, стоявшей у кухонной лавки, и упала перед ней на колени.

– Маманя! Милушка! Ты чего?! – не своим голосом вскрикнула Наталья, пытаясь поднять отяжелевшее тело матери.

Вместо ответа Лукинична стукнулась головой о земляной пол, глухо, надорванно заголосила по мертвому:

– И ро-ди-мый ты мо-о-ой! И на кого же ты нас... поки-и-нул!..

Бабы так дружно взревелись, так взвизгались детишки, что Петро, ухватив с печурки кисет, стремглав вылетел в сенцы. Он уже догадался, в чем дело. Постоял, покурив на крыльце. В курене умолкли воющие голоса, и Петро, неся на спине неприятный озноб, вошел в кухню. Лукинична, не отрывая от лица мокрого, хоть выжми, платка, причитала:

– Расстрелили нашего Мирона Григорича!.. Нету в живых сокола!.. Остались мы сиротами!.. Нас теперя и куры загребут!.. – И снова перешла на волчий голос: – Закрылись его глазыньки!.. Не видать им белого све-е-та!..

Дарья отпаивала сомлевшую Наталью водой, Ильинична завеской сушила щеки. Из горницы, где отлеживался больной Пантелей Прокофьевич, слышался кашель и скрежещущий стон.

– Ради господи Христа, сват! Ради создателя, родимушка, съезди ты в Вёшки, привези нам его хучь мертвого! – Лукинична хватала руки Петра, обезумело прижимала их к груди. – Привези его... Ох, царица милостивая! Ох, не хочу я, что он там сгниет непохороненный!

– Что ты, что ты, сваха! – как от зачумленной, отступал от нее Петро. – Мысленное дело – добыть его? Мне своя жизнь дороже! Где ж я его там найду?

– Не откажи, Петюшка! Ради Христа! Ради Христа!..

Петро изжевал усы и под конец согласился. Решил заехать в Вешенской к знакомому казаку и при его помощи попытаться вырвать труп Мирона Григорьевича. Выехал он в ночь. По хутору зажглись огни, и в каждой курене уже гудела новость: «Казаков расстреляли!»

Остановился Петро возле новой церкви у отцовского полчанина, попросил его помочь вырыть труп свата. Тот охотно согласился.

– Пойдем. Знаю, где это место. И неглубоко зарывают. Только как его найдешь? Там ить он не один. Вчера двенадцать палачей расстреляли, какие казнили наших при кадетской власти. Только уговор: посла постановишь четверть самогону? Ладно?

В полночь, захватив лопаты и ручные, для выделки кизяка, носилки, они пошли краем станицы через кладбище к соснам, около которых приводились в исполнение приговоры. Схватывался снежок. Краснотал, опушенный инеем, хрустел под ногами. Петро прислушивался к каждому звуку и клял в душе свою поездку, Лукиничну и даже покойного свата. Около первого квартала соснового молодняка, за высоким песчаным буруном казак стал.

– Где-то тут, поблизу...

Прошли еще шагов сто. Шайка станичных собак подалась от них с воем и брехом. Петро бросил носилки, хрипло шепнул:

– Пойдем назад! Ну его к...! Не один черт, где ему лежать? Ох, связался я... Упросила, нечистая сила!

– Чего же ты орбел? Пойдем! – посмеивался казак.

Дошли. Около раскидистого застарелого куста краснотала снег был плотно умят, смешан с песком. От него лучами расходились людские следы и низаная мережка собачьих...

...Петро по рыжеватой бороде угадал Мирона Григорьевича. Он вытащил свата за кушак, взвалил туловище на носилки. Казак, покашливая, закидывал яму; прилаживаясь к ручкам носилок, недовольно бормотал:

– Надо бы подъехать на санях к соснам. То-то дураки мы! В нем, в кабане, добрых пять пудов. А по снегу стрямко идтить.

Петро раздвинул отходившие свое ноги покойника, взялся за поручни.

До зари он пьянствовал в курене у казака. Мирон Григорьевич, закутанный в полог, дожидался в санях. Коня, спяну, привязал Петро к этим же саням, и тот все время стоял, до отказа вытянув на недоуздке голову, всхрапывая, прядая ушами. К сему так и не притронулся, чуя покойника.

Чуть посерел восход, Петро был уже в хуторе. Он ехал лугом, гнал без передышки. Позади выбивала дробь по поддоске голова Мирона Григорьевича. Петро раза два останавливался, совал под голову ему мочалистое луговое сено. Привез он свата прямо домой. Мертвому хозяину отворила ворота любимая дочь Грипашка и кинулась от саней в сторону, в сугроб. Как мучной куль, на плече внес Петро в просторную кухню свата, осторожно опустил на стол, заранее застланный холстинной дорожкой. Лукинична, выплакавшая все слезы, ползала в ногах мужа, опрятно одетых в белые смертные чулки, осиплая, простоволосая.

– Думала, войдешь ты на своих ноженьках, хозяин наш, а тебя внесли, – чуть слышались ее шепот и всхлипы, дико похожие на смех.

Петро из горенки вывел под руку деда Гришаку. Старик весь ходил ходуном, словно пол под его ногами зыбился трясинной. Но к столу подошел молодцевато, стал в изголовье.

– Ну, здорово, Мирон! Вот как пришлось, сынок, свидеться... – Перекрестился, поцеловал измазанный желтой глиной ледяной лоб. – Миронушка, скоро и я... – Голос его поднялся до стнящего визга. Словно боясь проговориться, дед Гришака проворным, не стариковским движением донес руку до рта, привалился к столу.

Спазма волчьей хваткой взяла Петра за глотку. Он потихоньку вышел на баз, к приращенному у крыльца коню.

XXIV

Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет вразвалку, мерным тихим разливом. Над песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы; ночью на россыпь выходит жировать стерлядь, ворочается в зеленых прибрежных терёмах тины сазан; белесь и сула гоняют за белой рыбой, сом роется в ракушках; взвернет иногда он зеленый клуб воды, покажется под просторным месяцем, шевеля золотым, блестя-

щим правилом, и вновь пойдет расковыривать лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне где-нибудь в черной обглоданной коряге.

Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с придушенным ревом стремительно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов, в котловинах течение образует коловерть. Завораживающим страшным кругом ходит там вода: смотреть – не насмотришься.

С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхнедонской округ. Толкнулись два течения, пошли вразброд казаки, и понесла, завертела коловерть. Молодые и которые победней – мялись, отмалчивались, всё еще ждали мира от Советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно.

В Татарском собрал Иван Алексеевич 4 марта сход. Народу сошлось на редкость много. Может быть, потому, что Штокман предложил ревкому на общем собрании распределить по беднейшим хозяйствам имущество, оставшееся от бежавших с белыми купцов. Собранию предшествовало бурное объяснение с одним из окружных работников. Он приехал из Вешенской с полномочиями забрать конфискованную одежду. Штокман объяснил ему, что одежду сейчас ревком сдать не может, так как только вчера было выдано транспорту раненых и больных красноармейцев тридцать с лишним теплых вещей. Приехавший молодой паренек насыпался на Штокмана, резко повышая голос:

– Кто тебе позволил отдавать конфискованную одежду?

– Мы разрешения не спрашивали ни у кого.

– Но какое же ты имел право расхищать народное достояние?

– Ты не кричи, товарищ, и не говори глупостей. Никто ничего не расхищал. Шубы мы выдали подводчикам под сохранные расписки, с тем чтобы они, доставив красноармейцев до следующего этапного пункта, привезли выданную одежду обратно. Красноармейцы были голые, и отправлять их в одних шинелишках – значило отправлять на смерть. Как же я мог не выдать? Тем более что одежда лежала в кладовой без употребления.

Он говорил, сдерживая раздражение, и, может быть, разговор кончился бы миром, но паренек, заморозив голос, решительно заявил:

– Ты кто такой? Председатель ревкома? Я тебя арестовываю! Сдавай дела заместителю! Сейчас же отправляю тебя в Вешенскую. Ты тут, может, половину имущества разворовал, а я...

– Ты коммунист? – кося глазами, мертвенно бледнея, спросил Штокман.

– Не твое дело! Милиционер! Возьми его и доставь в Вешенскую сейчас же! Сдашь под расписку в окружную милицию.

Паренек смерил Штокмана взглядом.

– А с тобой мы там поговорим. Ты у меня попляшешь, самоуправщик!

– Товарищ! Ты что – ошалел? Да ты знаешь...

– Никаких разговоров! Молчать!

Иван Алексеевич, не успевший в перепалку и слово вставить, увидел, как Штокман медленным страшным движением потянулся к висевшему на стене маузеру. Ужас плесканулся в глазах паренька. С изумительной быстротой тот отворил задом дверь, падая, пересчитал спиной все порожки крыльца и, ввалившись в сани, долго, пока не проскакал площади, толкал возницу в спину и все оглядывался, видимо, страхась погони.

В ревкоме раскатами бил в окна хохот. Смешливый Давыдка в судорогах катался по столу. Но у Штокмана еще долго нервный тик подергивал веко, косили глаза.

– Нет, каков мерзавец! Ах, подлюга! – повторял он, дрожащими пальцами сворачивая папироску.

На собрание пошел он вместе с Кошевым и Иваном Алексеевичем. Майдан набит битком. У Ивана Алексеевича даже сердце не по-хорошему екнуло: «Чтой-то они неспроста собра-

лись... Весь хутор на майдане». Но опасения его рассеялись, когда он, сняв шапку, вошел в круг. Казаки охотно расступились. Лица были сдержанные, у некоторых даже с веселинкой в глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой красноверхий малахай, громко сказал:

– Товарищи казаки! Прошло полтора месяца, как у вас стала Советская власть. Но до сих пор с вашей стороны мы, ревком, наблюдаем какое-то недоверие к нам, какую-то даже враждебность. Вы не посещаете собраний, среди вас ходят всякие слухи, нелепые слухи о поголовных расстрелах, о притеснениях, которые будто бы чинит вам Советская власть. Пора нам поговорить, что называется, по душам, пора поближе подойти друг к другу! Вы сами выбирали свой ревком. Котляров и Кошевой – ваши хуторские казаки, и между вами не может быть недоговоренности. Прежде всего я решительно заявляю, что распространяемые нашими врагами слухи о массовых расстрелах казаков – не что иное, как клевета. Цель у сеющих эту клевету – ясная: поссорить казаков с Советской властью, толкнуть вас опять к белым.

– Скажешь, расстрелов нет? А семерых куда дели? – крикнули из задних рядов.

– Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать врагов Советской власти, всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разорение...

– Верно!

– Это ты правильно гутаришь!

– ... Мы – за то, чтобы войны не было, – продолжал Штокман. – Мы за братство народов! А при царской власти для помещиков и капиталистов завоевывались вашими руками земли, чтобы обогатились на этом те же помещики и фабриканты. Вот у вас под боком был помещик Листницкий. Его дед получил за участие в войне восемьсот двенадцатого года четыре тысячи десятин земли. А что ваши деды получили? Они головы теряли на немецкой земле! Они кровью ее поливали!

Майдан загудел. Гул стал притихать, а потом сразу взмахнул ревком:

– Верна-а-а-а!..

Штокман малахаем осушил пот на лысеющем лбу, напрягая голос, кричал:

– Всех, кто поднимет на рабоче-крестьянскую власть вооруженную руку, мы истребим! Ваши хуторские казаки, расстрелянные по приговору Ревтрибунала, были нашими врагами. Вы все это знаете. Но с вами, тружениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем идти вместе, как быки на пахоте, плечом к плечу. Дружно будем пахать землю для новой жизни и бороться ее, землю, будем, чтобы весь старый сорняк, врагов наших, выкинуть с пахоты! Чтобы не пустили они вновь корней! Чтобы не заглушили роста новой жизни!

Штокман понял по сдержанному шуму, по оживившимся лицам, что ворохнул речью казачьи сердца. Он не ошибся: начался разговор по душам.

– Осип Давыдович! Хорошо мы тебя знаем, как ты проживал у нас когда-то, ты нам вроде как свой. Объясни правильно, не бойсь нас, что она, эта власть ваша, из нас хочет? Мы, конечно, за нее стоим, сыны наши фронты бросили, но мы – темные люди, никак мы не разберемся в ней...

Долго и непонятно говорил старик Грязнов, ходил вокруг да около, кидал увертливые, лисьи петли слов, видимо, боясь проговориться. Безрукий Алешка Шамиль не вытерпел:

– Можно сказать?

– Бузуй! – разрешил Иван Алексеевич, взволнованный разговором.

– Товарищ Штокман, ты мне наперед скажи: могу я гутарить так, как хочу?

– Говори.

– А не заарестуете меня?

Штокман улыбнулся, молча махнул рукой.

– Только чур – не сердчать! Я от простого ума: как умею, так и заверну.

Сзади за холостой рукав Алешкиного чекменишки дергал брат Мартин, испуганно шептал:

– Брось, шалава! Брось, не гутарь, а то они тебя враз на цугундер. Попадешь на книжку, Алешка!

Но тот отмахнулся от него, дергая изуродованной щекой, мигая, стал лицом к майдану.

– Господа казаки! Я скажу, а вы рассудите нас, правильно я поведу речь или, может, заблужусь. – Он по-военному крутнулся на каблуках, повернулся к Штокману, хитро заерзал прижмурой-глазом. – Я так понимаю: направдок гутарить – так направдок. Рубануть уж, так сплеча! И я зараз скажу, что мы все, казаки, думаем и за что мы на коммунистов держим обиду... Вот ты, товарищ, рассказывал, что против хлебобобов-казаков вы не идете, какие вам не враги. Вы против богатых, за бедных, вроде. Ну скажи, правильно расстреляли хуторных наших? За Коршунова гутарить не буду – он атаманил, весь век на чужом горбу катался, а вот Авдеича Бреха за что? Кашулина Матвея? Богатырева? Майданникова? А Королева? Они такие же, как и мы, темные, простые, непутаные. Учили их за чапиги держаться, а не за книжку. Иные из них и грамоте не разумеют. Аз, буки – вот и вся ихняя ученость. И ежели эти люди сболтнули что плохое, то разве за это на мушку их надо брать? – Алешка перевел дух, рванулся вперед. На груди его забился холостой рукав чекменя, рот повело в сторону. – Вы забрали их, кто сдуру набрехал, казнили, а вот купцов не трогаете! Купцы деньгой у вас жизнь свою откупили! А нам и откупиться не за что, мы весь век в земле копаемся, а длинный рупь мимо нас идет. Они, каких расстреляли, может, и последнего быка с база согнали б, лишь бы жизнь им оставили, но с них кострибуцию не требовали. Их взяли и поотвернули им головы. И ить мы все знаем, что делается в Вёшках. Там купцы, попы – все целенькие. И в Каргинах, небось, целые. Мы слышим, что кругом делается. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит!

– Правильна! – одинокий крик сзади.

Гомон вспух, потопил слова Алешки, но тот переждал время и, не обращая внимания на поднятую руку Штокмана, продолжал выкрикивать:

– И мы поняли, что, может, Советская власть и хороша, но коммунисты, какие на должностях засели, норовят нас в ложке воды утопить! Они нам солют за девятьсот пятый год, мы эти слова слышали от красных солдат. И мы так промеж себя судим: хотят нас коммунисты изнистожить, перевесть вовзят⁷. Чтоб и духу казачьего на Дону не было. Вот тебе мой сказ! Я зараз как пьяный: что на уме, то и на языке. А пьяные мы все от хорошей жизни, от обиды, что запеклась на вас, на коммунистов!

Алешка нырнул в гущу полушубков, и над майданом надолго распростерлась потерянная тишина. Штокман заговорил, но его перебили выкриком из задних рядов:

– Правда! Обижаются казаки! Вы послушайте, какие песни зараз на хуторах сложили. Словом не всякий решится сказать, а в песнях играют, с песни короткий спрос. А сложили такую «яблочко»:

Самовар кипит, рыба жарится,
А кадеты придут – будем жалиться.

– Значит, есть на что жалиться!

Кто-то некстати засмеялся. Толпа колыхнулась. Шепот, разговоры...

Штокман ожесточенно нахлобучил малахай и, выхватив из кармана список, некогда написанный Кошевым, крикнул:

⁷ Вовзят – совсем, вконец.

– Нет, неправда! Не за что обижаться тем, кто за революцию! Вот за что расстреляли ваших хуторян, врагов Советской власти. Слушайте! – И он внятно, с паузами стал читать:

СПИСОК

арестованных врагов Советской власти, препровождающихся в распоряжение следственной комиссии при Ревтрибунале 15-й Инзенской дивизии

№ № пп	Фамилия, имя, отчество	За что арестован	Примечание
1	Коршунов Мирон Григорьевич	б. атаман, богатея, нажитый от чужого труда	
2	Синилин Иван Авдеевич	Пущал пропаганды, чтобы свергнули Советскую власть	
3	Кашулин Матвей Иванович	То же самое	
4	Майданников Семен Гаврилов	Надевал погоны, орал по улицам против власти	
5	Мелехов Пантелей Прокофьевич	Член Войскового круга	
6	Мелехов Григорий Пантелеевич	Подъесаул, настроенный против. Опасный	
7	Кашулин Андрей Матвеев	Участвовал в расстреле красных казаков Подтелкова	
8	Бодовсков Федот Никифоров	То же самое	
9	Богатырев Архип Матвеев	Церковный титор. Против власти выступал в караулке. Возмутитель народа и контра революции	
10	Королев Захар Леонтьев	Отказался сдать оружие. Ненадежный	

Против обоих Мелеховых и Бодовскова в примечании, не прочтенном Штокманом вслух, было указано: «Данные враги Советской власти не доставляются, ибо двое из них в отсутствии, мобилизованы в обывательские подводы, повезли до станции Боковской патроны. А Мелехов

Пантелей лежит в тифу. С приездом двое будут немедленно арестованы и доставлены в округ. А третий – как только подымется на ноги».

Собрание несколько мгновений помолчало, а потом взорвалось криками:

- Неверно!
- Бреешь! Говорили они против власти!
- За такие подобные следовало!
- В зубы им заглядывать, что ли?
- Наговоры на них!

И Штокман заговорил вновь. Его слушали будто и внимательно и даже покрикивали с одобрением, но когда в конце он поставил вопрос о распределении имущества бежавших с белыми – ответили молчанием.

– Чего ж вы воды в рот набрали? – досадую, спросил Иван Алексеевич.

Толпа покатила к выходу, как просыпанная дробь. Один из беднейших, Семка, по прозвищу Чугун, было нерешительно подался вперед, но потом одумался и махнул варежкой:

– Хозяева придут, опосля глазами моргай...

Штокман пытался уговаривать, чтобы не расходились, а Кошевой, мучнисто побелев, шепнул Ивану Алексеевичу:

– Я говорил – не будут брать. Это имущество лучше спалить теперь, чем им отдавать!..

XXV

Кошевой, задумчиво похлопывая плеткой по голенищу, уронив голову, медленно всходил по порожкам моховского дома. Около дверей в коридоре, прямо на полу, лежали в куче седла. Кто-то, видно, недавно приехал: на одном из стремян еще не стоял спрессованный подошвой всадника, желтый от навоза комок снега; под ним мерцала лужица воды. Все это Кошевой видел, ступая по измызанному полу террасы. Глаза его скользили по голубой резной решетке с выщербленными ребрами, по пушистому настилу инея, сиреневой каемкой лежавшему близ стены; мельком взглянул он и на окна, запотевшие изнутри, мутные, как бычачий пузырь. Но все то, что он видел, в сознании не фиксировалось, скользило невнятно, расплывчато, как во сне. Жалость и ненависть к Григорию Мелехову переплели Мишкино простое сердце...

В передней ревкома густо воняло табаком, конской сбруей, талым снегом. Горничная, одна из прислуги оставшаяся в доме после бегства Моховых за Донец, топила голландскую печь. В соседней комнате громко смеялись милиционеры. «Чудно им! Веселость нашли!..» – обиженно подумал Кошевой, шагая мимо, и уже с досадой в последний раз хлопнул плеткой по голенищу, без стука вошел в угловую комнату.

Иван Алексеевич в распахнутой ватной теплушке сидел за письменным столом. Черная папаха его была лихо сдвинута набекрень, а потное лицо – устало и озабоченно. Рядом с ним на подоконнике, все в той же длинной кавалерийской шинели, сидел Штокман. Он встретил Кошевого улыбкой, жестом пригласил сесть рядом:

– Ну как, Михаил? Садись.

Кошевой сел, разбросав ноги. Любознательно-спокойный голос Штокмана подействовал на него отрезвляюще.

– Слышал я от верного человека... Вчера вечером Григорий Мелехов приехал домой. Но к ним я не заходил.

– Что ты думаешь по этому поводу?

Штокман сворачивал папироску и изредка вкось поглядывал на Ивана Алексеевича, выжидая ответа.

– Посадить его в подвал или как? – часто мигая, нерешительно спросил Иван Алексеевич.

– Ты у нас председатель ревкома... Смотри.

Штокман улыбнулся, уклончиво пожал плечами. Умел он с такой издевкой улыбнуться, что улыбка жгла не хуже удара арапником. Вспотел у Ивана Алексеевича подбородок.

Не разжимая зубов, резко сказал:

– Я – председатель, так я их обоих, и Гришку и брата, арестую – и в Вёшки!

– Брата Григория Мелехова арестовывать вряд ли есть смысл. За него горой стоит Фомин. Тебе же известно, как он о нем прекрасно отзывается... А Григория взять сегодня, сейчас же! Завтра мы его отправим в Вешенскую, а материал на него сегодня же пошли с конным милиционером на имя председателя Ревтрибунала.

– Может, вечером забрать Григория, а, Осип Давыдович?

Штокман закашлялся и уже после приступа, вытирая бороду, спросил:

– Почему вечером?

– Меньше разговоров...

– Ну, это, знаешь ли... ерунда это!

– Михаил, возьми двух человек и иди забери зараз же Гришку. Посадишь его отдельно.

Понял?

Кошевой сполз с подоконника, пошел к милиционерам. Штокман походил по комнате, шаркая растоптанными седыми валенками; остановившись против стола, спросил:

– Последнюю партию собранного оружия отправил?

– Нет.

– Почему?

– Не успел вчера.

– Почему?

– Нынче отправим.

Штокман нахмурился, но сейчас же приподнял брови, спросил скороговоркой:

– Мелеховы что сдали?

Иван Алексеевич, припоминая, сощурил глаза, улыбнулся:

– Сдали-то они в аккурат, две винтовки и два нагана. Да ты думаешь, это все?

– Нет?

– Ого! Нашел дурее себя!

– Я тоже так думаю. – Штокман тонко поджал губы. – Я бы на твоём месте после ареста устроил у него тщательный обыск. Ты скажи, между прочим, коменданту-то. Думать-то ты думаешь, а кроме этого, и делать надо.

Кошевой вернулся через полчаса. Он резво бежал по террасе, свирепо прохлопал дверями и, став на пороге, переводя дух, крикнул:

– Черта с два!

– Ка-а-ак?! – быстро идя к нему, страшно округляя глаза, спросил Штокман. Длинная шинель его извивалась между ногами, полами щелкала по валенкам.

Кошевой, то ли от тихого его голоса, то ли еще от чего, взбесился, заорал:

– А ты глазами не играй!.. – И матерно выругался, – Говорят, уехал Гришка на Сингинский, к тетке, а я тут при чем? Вы-то где были? Гвозди дергали? Вот! Проворонили Гришку! А на меня нечего орать! Мое дело телячье – поел да в закут. А вы чего думали? – Пятясь от подходившего к нему в упор Штокмана, он уперся спиной в изразцовую боковину печи и рассмеялся. – Не напирай, Осип Давыдович! Не напирай, а то, ей-богу, вдарю!

Штокман постоял около него, похрустел пальцами; глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его, смотревшие улыбочиво и преданно, процедил:

– Дорогу на Сингин знаешь?

– Знаю.

– Чего же ты вернулся? А еще говоришь – с немцем дрался... Шляпа! – И с нарочитым презрением сощурился.

Степь лежала, покрытая голубоватым дымчатым куревом. Из-за обдонского бугра вставал багровый месяц. Он скупо светил, не затмевая фосфорического света звезд.

По дороге на Сингин ехали шесть конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с Кошевым трясся в драгунском седле Штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взигрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невозмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским, залихватским смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык Штокману, в его суровые стерегущие глаза.

Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.

XXVI

Григория заставили из Боковской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели. А за два дня до его приезда арестовали отца. Пантелей Прокофьевич только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, мослаковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос лез, будто избитый молью, борода свалилась и была по краям сплошь намылена сединой.

Милиционер увел его, дав на сборы десять минут. Посадили Прокофьевича – перед отправкой в Вешенскую – в моховский подвал. Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять стариков и один почетный судья.

Петро сообщил эту новость Григорию и – не успел еще тот в ворота въехать – посоветовал:

– Ты, браток, поворачивай оглобли... Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а посла давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, скажу – уехал на Сингин, к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, слышал? Как бы отцу такая линия не вышла... А про тебя и гутарить нечего!

Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускакал на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил двое суток, выползая из своего логова только по ночам.

XXVII

На второй день после приезда с Сингина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание комячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдка и Филька решили оформить свою партийную принадлежность.

Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За годы войны столько развелось их и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан куги – так и заячье кобло. От скрипа саней вскочит серый с белым подпузником заяц и, мигая отороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал:

– Бей! А ну, резани его!

Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белое крошево снега, а комок надавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще.

...В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман, на вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул:

– Отвяжись, ну тебя к черту! Не до вас!

По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площади пахло говядиной и лавровым листом.

Кошевой зашел в Ревтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил:

– Чего у вас томаха идет?

Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам, Громов:

– В Казанской чтой-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая.

– Верхового кинули б туда.

– Послали. Не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота. И там что-то нехорошо.

Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок.

Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной, на рысях, повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, намётом прошла оседланная, без всадника лошадь.

Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин, в бурке, черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли.

«К лошадям!» – было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебежал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить постромки.

– Чтой-то, Михаил? Что такое? – лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг – потерял вожжи. Начал вожжать – на хомуте, у левой, развязалась супонь.

Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное: переворот вступал в права.

Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в сто сажений, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу; придерживая повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. «Убил!» – Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком и из принесенного с германской войны австрийского карабина

без промаха низал любую на любом расстоянии цель. Уже в санях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу.

Скакать через Дон на Базки было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стали бы прекрасной мишенью.

Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслуз⁸, из-под конских копыт, шипя, летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к Кошевому:

– Что делать? А если и у нас такая заваруха?

Мишка затосковал глазами. Оглядел хутор. По крайней к Дону улице проскакали двое верховых. Показалось, видно, Кошевому, что это милиционеры.

– Гони в хутор. Больше нам некуда деваться! – решительно сказал он.

Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали. Поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края.

– Ох, Мишка! – Емельян, увидев в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад.

– Стой!

Выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой спрыгнул с саней. Подбегая к нему, скользя ногами, обутыми в чирики, Антип качнулся, стал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вил-тройчаток.

– Бей его!

От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами.

– Вставай, сука!

Дальше Кошевой помнил все как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип:

– Отца моего смерти предал... Пустите, добрые люди! Дайте я над ним сердце отведу!

Его оттягивали. Собралась толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил:

– Пустите парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизнь не вдунешь, а человека загубишь... Разойдитесь, братцы! Там вон, на складе, сахар делют. Ступайте...

Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал тронутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, неглубоко вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие гукали выстрелы. Брехали собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка скотиньей стежкой вдоль Дона. Выбрался на яр и полз под плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не узнавал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки. Холод и загнал Кошевого в чьи-то воротца. Мишка открыл калитку, приключенную хворостом, вошел на задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался было он, но сейчас же слышал шаги и кашель.

Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Добьют зараз», – безразлично, как о постороннем, подумал Кошевой. Человек стал в темном просторе дверей.

– Кто тут такой?

Голос был слаб и словно испуган.

Мишка шагнул за стенку.

– Кто это? – спросили уже тревожнее и громче.

⁸ Наслuz – снеговой покров на льду, пропитанный водой.

Узнав голос Степана Астахова, Мишка вышел из половни:

– Степан, это я, Кошевой... Спаси, ради бога! Могешь ты не говорить никому? Пособи!

– Вон это кто... – Степан, только что поднявшийся после тифа, говорил расслабленным голосом. Удлиненный худобою рот его широко и неуверенно улыбался. – Ну что ж, переночуй, а дnevать уж иди куда-нибудь. Да ты как попал сюда?

Мишка без ответа нащупал его руку, сунулся в ворох мякины.

На другую ночь, чуть смерклось, – решившись на отчаянное, добрел до дома, постучался в окно. Мать открыла ему двери в сенцы, заплакала. Руки ее шарили, хватали Мишку за шею, а голова колотилась у него на груди.

– Уходи! Христа ради, уходи, Мишенька! Приходили ноне утром казаки... Весь баз перерыли, искали тебя. Антипка Брех плетью меня секанул. «Скрываешь, говорит, сына. Жалко, что не доби́ли его доразу⁹!»

Где были свои – Мишка не представлял. Что творилось в хуторе – не знал. Из короткого рассказа матери понял, что восстали все хутора Обдонья, что Штокман, Иван Алексеевич, Давыдка и милиционеры ускакали, а Фильку и Тимофея убили на площади еще вчера в полдень.

– Уходи! Найдут тут тебя...

Мать плакала, но голос ее, налитый тоской, был тверд. За долгое время в первый раз заплакал Мишка, по-ребячьи всхлипывая, пуская ртом пузыри. Потом обротал подсосую кобыленку, на которой служил когда-то в атарщиках, вывел ее на гумно, следом шли жеребенок и мать. Мать подсадила Мишку на лошадь, перекрестила. Кобыла пошла нехотя, два раза заржала, прикликая жеребенка. И оба раза сердце у Мишки срывалось и словно катилось куда-то вниз. Но выехал он на бугор благополучно, рыском двинул по Гетманскому шляху на восток, в направлении Усть-Медведицы. Ночь раскохалась темная, беглецкая. Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка. Кошевой стискивал зубы, бил ее по ушам концами уздечки, часто останавливался послушать – не гремит ли сзади или навстречу гулкий бег коней, не привлекло ли чьего-нибудь внимания ржанье. Но кругом мертвела сказочная тишина. Кошевой слышал только, как, пользуясь остановкой, сосет, чмокает жеребенок, припав к черному вымени матери, упираясь задними ножонками в снег, и чувствовал по спине лошади требовательные его толчки.

XXVIII

В кизячнике густо пахнет сухим навозом, выпревшей соломой, объедьями сена. Сквозь чакановую крышу днем сочится серый свет. В хворостяные ворота, как сквозь решето, иногда глянет солнце. Ночью – глаз коли. Мышинный писк. Тишина. Хозяйка, крадучись, приносила Григорию поесть раз в сутки, вечером. Врытый в кизяки, стоял у него ведерный кувшин с водой. Все было бы ничего, но кончился табак. Григорий ядовито мучился первые сутки и, не выдержав без курева, наутро ползал по земляному полу, собирая в пригоршню сухой конский помет, крошил его в ладонях, курил. Вечером хозяин прислал с бабой два затхлых бумажных листа, вырванных из Евангелия, коробку серников и пригоршню смеси: сухой донник и корешки недозрелого самосада – «дюбека». Рад был Григорий, накурился до тошноты и в первый раз крепко уснул на кочковатых кизяках, завернув голову в полу, как птица под крыло.

Утром разбудил его хозяин. Он вбежал в кизячник, резко окликнул:

– Спишь? Вставай! Дон поломало!.. – и рассыпчато засмеялся.

Григорий прыгнул с прикладка. За ним обвалом глухо загремели пудовые квадраты кизяков.

⁹ Доразу – сразу.

– Что случилось?

– Восстали еланские и вешенские с этой стороны. Фомин и вся власть из Вёшек убежали на Токин. Кубыть, восстала Казанская, Шумилинская, Мигулинская. Понял, куда оно махнуло?

У Григория вздулись на лбу и на шее связки вен, зеленоватыми искорками брызнули зрачки. Радости он не мог скрыть: голос дрогнул, бесцельно забегали по застегкам шинели черные пальцы.

– А у вас... в хуторе? Что? Как?

– Ничего не слышать. Председателя видал – смеется: «По мне, мол, все одно, какому богу ни молиться, лишь бы бог был». Да ты вылазь из своей норы.

Они шли к куреню. Григорий отмахивал саженьями. Сбоку поспешал хозяин, рассказывая:

– В Еланской первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера двадцать еланских коммунов пошли на Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили: «Докель мы будем терпеть смывание? Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем отобьем арестованных». Собрались человек пятнадцать, все ухи-ребяты. Повел их боевой казакишка Атланов. Винтовок у них только две, у кого пашка, у кого пика, а иной с дрючком. Через Дон прискакали на Плешаков. Коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, а баз-то обнесенный каменной огородой. Они напхнулись да назад. Коммуняки убили у них одного казака, царство ему небесное. Вдарили вдогон, он с лошади сорвался и завис на плетне. Принесли его плешаковские казаки к станишным конюшням. А у него, у любушки, в руке плетка застыла... Ну и пошло рвать. На этой поре и конец подошел Советской власти, ну ее к...!..

В хате Григорий с жадностью съел остатки завтрака; вместе с хозяином вышел на улицу. На углах проулков, будто в праздник, группами стояли казаки. К одной из таких групп подошли Григорий и хозяин. Казаки на приветствие донесли до папах руки, ответили сдержанно, с любопытством и выжиданием оглядывая незнакомую фигуру Григория.

– Это свой человек, господа казаки! Вы его не пугайтесь. Про Мелеховых с Татарского слышали? Это сынок Пантелея, Григорий. У меня от расстрела спасался, – с гордостью сказал хозяин.

Только что завязался разговор, один из казаков начал рассказывать, как выбили из Вешенской решетовцы, дубровцы и Черновцы Фомина, – но в это время в конце улицы, упиравшейся в белый лобастый скат горы, показались двое верховых. Они скакали вдоль улицы, останавливаясь около каждой группы казаков, поворачивая лошадей, что-то кричали, махали руками. Григорий жадно ждал их приближения.

– Это не наши, не рыбинские... Гонцы откель-то, – всматриваясь, сказал казак и оборвал рассказ о взятии Вешенской.

Двое, миновав соседний переулок, доскакали. Передний, старик в зипуне нараспашку, без шапки, с потным, красным лицом и рассыпанными по лбу седыми кудрями, молодецки осадил лошадь; до отказа откидываясь назад, вытянул вперед правую руку.

– Что ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы?! – плачуще крикнул он. Злые слезы рвали его голос, волнение трясло багровые щеки.

Под ним ходуном ходила красавица кобылица, четырехлетняя нежеребь, рыжая, белоноздрая, с мочалистым хвостом и сухими, будто из стали литыми ногами. Храпя и кусая удила, она приседала, прыгала в дыбошки, просила повод, чтобы опять пойти броским, звонким намётом, чтобы опять ветер заламывал ей уши, свистел в гриве, чтобы снова охала под точеными раковинами копыт гулкая, выжженная морозами земля. Под тонкой кожей кобылицы играли и двигались каждая связка и жилка. Ходили на шее долевы валуны мускулов, дрожал просвечивающий розовый храп, а выпуклый рубиновый глаз, выворачивая кровавой белок, косился на хозяина требовательно и зло.

– Что же вы стоите, сыны тихого Дона?! – еще раз крикнул старик, переводя глаза с Григория на остальных. – Отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают, над вашей верой смеются жидовские комиссары, а вы лузгаете семечки и ходите на игрища? Ждете, покель вам арканом затянут глотку? Докуда же вы будете держаться за бабьи курпьяки? Весь Еланский юрт поднялся с малу до велика. В Вешенской выгнали красных... а вы, рыбинские казаки! Аль вам жизнь дешева стала? Али вместо казачьей крови мужицкий квас у вас в жилах? Встаньте! Возьмитесь за оружие! Хутор Кривской послал нас подымать хутора. На конь, казаки, покуда не поздно! – Он наткнулся осумасшедшевыми глазами на знакомое лицо одного старика, крикнул с великой обидой: – Ты-то чего стоишь, Семен Христофорович? Твоего сына зарубили под Филоновой красные, а ты на пече спасаешься?!

Григорий не дослушал, кинулся на баз. Из половни он на рысях вывел своего застоявшегося коня; до крови обрывая ногти, разрыл в кизяках седло и вылетел из ворот как бешеный.

– Пошел! Спаси, Христос! – успел крикнуть он подходившему к воротам хозяину и, падая на переднюю луку, весь клонясь к конской шее, поднял по улице белый смерчевый жгут снежной пыли, охаживая коня по обе стороны плетью, пуская его во весь мах. За ним оседало снежное курево, в ногах ходили стремяна, терлись о крылья седла занемевшие ноги. Под стремянами стремительно строчили конские копыта. Он чувствовал такую лютую, огромную радость, такой прилив сил и решимости, что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клочущий хрип. В нем освободились плененные, затаившиеся чувства. Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях.

Все было решено и взвешено в томительные дни, когда зверем скрывался он в кизячном логове и по-звериному сторожил каждый звук и голос снаружи. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжелой внутренней борьбы.

Тенью от тучи проклубились те дни, и теперь казались ему его искания зряшными и пустыми. О чем было думать? Зачем металась душа, – как зафлаженный на облаве волк, – в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь, – как в стенке, – а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству, – и все.

Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир! На узкой стежке не разойтись – кто-нибудь кого-нибудь, а должен свалить. Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь – за шашку!

Об этом, опалемый слепой ненавистью, думал Григорий, пока конь нес его по белогривому покрову Дона. На миг в нем ворохнулось противоречие: «Богатые с бедными, а не казаки с Русью... Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные...» Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей.

Завиднелся Татарский. Григорий передернул поводья, коня, осыпанного шмотьями мыла, свел на легкую побегу. На выезде придавил опять, конской грудью откинул воротца калитки, вскочил на баз.

XXIX

На рассвете, измученный, Кошевой въехал в хутор Большой Усть-Хоперской станицы. Его остановила застава 4-го Заамурского полка. Двое красноармейцев отвели его в штаб. Какой-то штабной долго и недоверчиво расспрашивал его, пытался путать, задавая вопросы, вроде того: «А кто у вас был председателем ревкома? Почему документов нет?» – и все прочее в этом духе. Мишке надоело отвечать на глупые вопросы.

– Ты меня не крути, товарищ! Меня казаки не так крутили, да ничего не вышло.

Он завернул рубаху, показал пробитый вилами бок и низ живота. Хотел уже пугануть штабного печеным словом, но в этот момент вошел Штокман.

– Блудный сын! Чертушка! – Бас его сорвался, руки облапили Мишкину спину. – Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же наш парень! До чего ты глупость спорол! Послал бы за мной или за Котляровым, вот и все, и никаких вопросов... Пойдем, Михаил! Но как ты уцелел? Как ты уцелел, скажи мне? Ведь мы тебя вычеркнули из списка живых. Погиб, думаем, смертью героя.

Мишка вспомнил, как брали его в плен, беззащитность свою, винтовку, оставленную в саях, – мучительно, до слез покраснел.

XXX

В Татарском в день приезда Григория уже сформировались две сотни казаков. На сходе постановили мобилизовать всех способных носить оружие, от шестнадцати до семидесяти лет. Многие чувствовали безнадежность создавшегося положения: на север была враждебная, ходившая под большевиками Воронежская губерния и красный Хоперский округ, на юг – фронт, который, повернувшись, мог лавиной своей раздавить повстанцев. Некоторые особенно осторожные казаки не хотели брать оружия, но их заставляли силой. Наотрез отказался воевать Степан Астахов.

– Я не пойду. Берите коня, что хотите со мной делайте, а я не хочу винтовку брать! – заявил он утром, когда в курень к нему вошли Григорий, Христоня и Аникушка.

– Как это не хочешь? – шевеля ноздрями, спросил Григорий.

– А так, не хочу – и все!

– А ежели красные заберут хутор, куда денешься? С нами пойдешь или останешься?

Степан долго переводил пристальный посвечивающий взгляд с Григория на Аксинью, ответил, помолчав:

– Тогда видно будет...

– Коли так – выходи! Бери его, Христан! Мы тебя зараз к стенке прислоним! – Григорий, стараясь не глядеть на прижавшуюся к печке Аксинью, взял Степана за рукав гимнастерки, рванул к себе. – Пойдем, нечего тут!

– Григорий, не дури... Оставь! – Степан бледнел, слабо упирался.

Его сзади обнял нахмуренный Христоня, буркнул:

– Стал быть, пойдем, ежели ты такого духу.

– Братцы!..

– Мы тебе не братцы! Иди, говорят!

– Пустите, я запишусь в сотню. Слабый я от тифу...

Григорий криво усмехнулся, выпустил рукав Степановой гимнастерки.

– Иди получай винтовку. Давно бы так!

Он вышел, запахнув шинель, не попрощавшись. Христоня не постеснялся после случившегося выпросить у Степана табаку на сигарку и еще долго сидел, разговаривал, как будто между ними ничего и не было.

К вечеру из Вешенской привезли два воза оружия: восемьдесят четыре винтовки и более сотни шашек. Многие достали свое припрятанное оружие. Хутор выстрочил двести одиннадцать бойцов. Полтораста конных, остальные пластуны.

Еще не было единой организации у повстанцев. Хутора действовали пока разрозненно: самостоятельно формировали сотни, выбирали на сходках командиров из наиболее боевых казаков, считаясь не с чинами, а с заслугами; наступательных операций не предпринимали, а лишь связывались с соседними хуторами и прощупывали конными разведками окрестности.

Командиром конной сотни в Татарском еще до приезда Григория выбрали, как и в восемнадцатом году, Петра Мелехова. Командование пешей сотней принял на себя Латышев. Батареи во главе с Иваном Томилиным уехали на Базки. Там оказалось брошенное красными полуразрушенное орудие, без панорамы и с разбитым колесом. Его-то и отправились батареи чинить.

На двести одиннадцать человек привезли из Вешенской и собрали по хутору сто восемь винтовок, сто сорок шашек и четырнадцать охотничьих ружей. Пантелей Прокофьевич, освобожденный вместе с остальными стариками из моховского подвала, вырыл пулемет. Но лент не нашлось, и пулемета сотня на вооружение не приняла.

На другой день к вечеру стало известно, что из Каргинской идет на подавление восстания карательный отряд красных войск в триста штыков под командой Лихачева, при семи орудиях и двенадцати пулеметах. Петро решил выслать в направлении хутора Токина сильную разведку, одновременно сообщив в Вешенскую.

Разведка выехала в сумерках. Вел Григорий Мелехов тридцать два человека татарцев. Из хутора пошли наметом, да так и гнали почти до самого Токина. Верстах в двух от него, возле неглубокого яра, при шляху, Григорий спешил казаков, расположил в ярке. Коноводы отвели лошадей в лошину. Лежал там глубокий снег. Лошади, спускаясь, тонули в рыхлом снегу по пузо; чей-то жеребец, в предвесеннем возбуждении, игогокал, лягался. Пришлось послать на него отдельного коновода.

Трех казаков – Аникушку, Мартина Шамиля и Прохора Зыкова – Григорий послал к хутору. Они тронулись шагом. Вдали под склоном синели, уходя на юго-восток широким зигзагом, токинские левады. Сходила ночь. Низкие облака валили над степью. В яру молча сидели казаки. Григорий смотрел, как силуэты трех верховых спускаются под гору, сливаются с черной хребтиной дороги. Вот уже не видно лошадей, маячат одни головы всадников. Скрылись и они. Через минуту оттуда горласто затарахтел пулемет. Потом, тоном выше, тенористо защелкал другой – видимо, ручной. Опорожнив диск, ручной умолк, а первый, передохнув, ускоренно кончил еще одну ленту. Стаи пуль рассевом шли над яром, где-то в сумеречной вышине. Живой их звук бодрил, был весел и тонок. Трое скакали во весь опор.

– Напхнулись на заставу! – издали крикнул Прохор Зыков. Голос его заглушило громом конского бега.

– Коноводам изготавиться! – отдал Григорий приказ.

Он вскочил на гребень яра, как на бруствер, и, не обращая внимания на пули, с шипом зарывавшиеся в снег, пошел навстречу подъезжавшим казакам.

– Ничего не видали?

– Слышно, как завозились там. Много их, слышать по голосам, – запыхавшись, говорил Аникушка.

Он прыгнул с коня, носок сапога заело стремя, и Аникушка заругался, чикиляя, при помощи руки освобождая ногу.

Пока Григорий расспрашивал его, восемь казаков спустились из яра в ложину; разобрав коней, усаkali домой.

– Расстреляем завтра, – тихо сказал Григорий, прислушиваясь к удаляющемуся топоту беглецов.

В яру оставшиеся казаки просидели еще с час, бережно храня тишину, вслушиваясь. Под конец кому-то послышался цокот копыт.

– Едут с Токина...

– Разведка!

– Не может быть!

Переговаривались шепотом. Высовывая головы, напрасно пытались разглядеть что-либо в ночной непроницаемой наволочи. Калмыцкие глаза Федота Бодовскова первые разглядели.

– Едут, – уверенно сказал он, снимая винтовку.

Носил он ее по-чуждому: ремень цеплял на шею, как гайтан креста, а винтовка косо болталась у него на груди. Обычно так ходил он и ездил, положив руки на ствол и на ложе, будто баба на коромысло.

Человек десять конных молча, в беспорядке ехали по дороге. На пол-лошади впереди выделялась осанистая, тепло одетая фигура. Длинный куцехвостый конь шел уверенно, горделиво. Григорию снизу на фоне серого неба отчетливо видны были линии конских тел, очертания всадников, даже плоский, срезанный верх кубанки видел он на ехавшем впереди. Всадники были в десяти саженях от яра; такое крохотное расстояние отделяло казаков от них, что казалось, они должны бы слышать и хриплые казачьи дыхи, и частый звон сердец.

Григорий еще раньше приказал без его команды не стрелять. Он, как зверобой в засаде, ждал момента расчетливо и выверенно. У него уже созрело решение: окликнуть едущих и, когда они в замешательстве собьются в кучу, – открыть огонь.

Мирно похрустывал на дороге снег. Из-под копыт выпорхнула желтым светлячком искра; должно, подкова скользнула по оголенному кремню.

– Кто едет?

Григорий легко, по-кошачьи выпрыгнул из яра, выпрямился. За ним с глухим шорохом высыпали казаки.

Произошло то, чего никак не ожидал Григорий.

– А вам кого надо? – без тени страха или удивления спросил густой сиплый бас переднего. Всадник повернул коня, направляя его на Григория.

– Кто такой?! – резко закричал Григорий, не трогаясь с места, неприметно поднимая в полусогнутой руке наган.

Тот же бас зарокотал громовито, гневно:

– Кто смеет орать? Я – командир отряда карательных войск! Уполномочен штабом Восьмой красной армии задавить восстание! Кто у вас командир? Дать мне его сюда!

– Я командир.

– Ты? А-а-а...

Григорий увидел вороную штуку во вскинутой вверх руке всадника, успел до выстрела упасть; падая, крикнул:

– Огонь!

Тупоносая пуля из браунинга цвенькнула над головой Григория. Посыпались оглушающие выстрелы с той и с другой стороны. Бодовсков повис на поводьях коня бесстрашного командира. Потянувшись через Бодовскова, Григорий, удерживая руку, рубнул тупяком пашки по кубанке, сдернул с седла грузноватое тело. Схватка кончилась в две минуты. Трое красноармейцев усаkali, двух убили, остальных обезоружили.

Григорий коротко допрашивал взятого в плен командира в кубанке, тыча в разбитый рот ему дуло нагана:

– Как твоя фамилия, гад?

– Лихачев.

– На что ты надеялся, как ехал с девятью охранниками? Ты думал, казаки на колени попадают? Прощения будут просить?

– Убейте меня!

– С этим успеется, – утешал его Григорий. – Документы где?

– В сумке. Бери, бандит!.. Сволочь!

Григорий, не обращая внимания на ругань, сам обыскал Лихачева, достал из кармана его полушубка второй браунинг, снял маузер и полевую сумку. В боковом кармане нашел маленький, обтянутый пестрой звериной шкурой портфель с бумагами и портсигар.

Лихачев все время ругался, стонал от боли. У него было прострелено правое плечо, Григорьевой пашкой сильно зашиблена голова. Был он высок, выше Григория ростом, тяжеловесен и, должно быть, силен. На смуглом свежевыбритом лице куцые широкие черные брови разлаписто и властно сходились у переносицы. Рот большой, подбородок квадратный. Одет Лихачев был в сборчатый полушубок, голову его крыла черная кубанка, помятая сабельным ударом, под полушубком на нем статно сидели защитный френч, широченные галифе. Но ноги были малы, изящны, обуты в щегольские сапоги с лаковыми голенищами.

– Снимай полушубок, комиссар! – приказал Григорий. – Ты – гладкий. Отъелся на казачьих хлебах, небось, не замерзнешь!

Пленным связали руки кушаками, недоуздками, посадили на их же лошадей.

– Рысью за мной! – скомандовал Григорий и поправил на себе лихачевский маузер.

Ночевали они на Базках. На полу у печи, на соломенной подстилке стонал, скрипел зубами, метался Лихачев. Григорий при свете лампы промыл и перевязал ему раненое плечо. Но от расспросов отказался. Долго сидел за столом, просматривая мандаты Лихачева, списки вешенских казаков-контрреволюционеров, переданные Лихачеву бежавшим Ревтрибуналом, записную книжку, письма, пометки на карте. Изредка посматривал на Лихачева, скрещивал с ним взгляды, как клинки. Казаки, ночевавшие в этой хате, всю ночь колготились, выходили к лошадям и курить в сенцы, лежа разговаривали.

Забылся Григорий на заре, но вскоре проснулся, поднял со стола отяжелевшую голову. Лихачев сидел на соломе, зубами развязывая бинт, срывая повязку. Он взглянул на Григория налитыми кровью, ожесточенными глазами. Белозубый рот его был оскален мучительно, как в агонии, в глазах светилась такая мертвая тоска, что у Григория сон будто рукой сняло.

– Ты чего? – спросил он.

– Какого тебе... надо! Смерти хочу! – зарычал Лихачев, бледнея, падая головой на солону.

За ночь он выпил с полведра воды. Глаз не сомкнул до рассвета.

Утром Григорий отправил его на тачанке в Вешенскую с кратким донесением и всеми отобранными документами.

XXXI

В Вешенской к красному кирпичному зданию исполкома резво подкатила тачанка, конвоируемая двумя конными казаками. В задке полулежал Лихачев. Он встал, придерживая руку на окровавленной повязке. Казаки спешили; сопровождая его, вошли в дом.

С полсотни казаков густо толпились в комнате временно командующего объединенными повстанческими силами Суярова. Лихачев, оберегая руку, протолкался к столу. Маленький, ничем не примечательный, разве только редкостно ехидными щелками желтых глаз, сидел за столом Суяров. Он кротко глянул на Лихачева, спросил:

– Привезли голубя? Ты и есть Лихачев?

– Я. Вот мои документы. – Лихачев бросил на стол завязанный в мешок портфель, глянул на Суярова неприступно и строго. – Сожалею, что мне не удалось выполнить моего поручения – раздавить вас, как гадов! Но Советская Россия вам воздаст должное. Прошу меня расстрелять.

Он шевельнул простреленным плечом, шевельнул широкой бровью.

– Нет, товарищ Лихачев! Мы сами против расстрелов восстали. У нас не так, как у вас, – расстрелов нету. Мы тебя вылечим, и ты ишо, может, пользу нам принесешь, – мягко, но поблескивая глазами, проговорил Суяров. – Лишние, выйдите отсель. Ну, поскорейча!

Остались командиры Решетовской, Черновской, Ушаковской, Дубровской и Вешенской сотен. Они присели к столу. Кто-то пихнул ногой табурет Лихачеву, но тот не сел. Прислонился к стене, глядя поверх голов в окно.

– Вот что, Лихачев, – начал Суяров, переглядываясь с командирами сотен. – Скажи нам: какой численности у тебя отряд?

– Не скажу.

– Не скажешь? Не надо. Мы сами из бумаг твоих пойдем. А нет – красноармейцев из твоей охраны допросим. Ишо одно дело попросим (Суяров налег на это слово) мы тебя: напиши своему отряду, чтобы они шли в Вёшки. Воевать нам с вами не из чего. Мы не против Советской власти, а против коммуны и жидов. Мы отряд твой обезоружим и распустим по домам. И тебя выпустим на волю. Одним словом, пропиши им, что мы такие же трудящиеся и чтоб они нас не опасались, мы не супротив Советов...

Плевок Лихачева попал Суярову на седенький клинышек бородки. Суяров бороду вытер рукавом, порозовел в скулах. Кое-кто из командиров улыбнулся, но чести командующего защитить никто не встал.

– Обижаешь нас, товарищ Лихачев! – уже с явным притворством заговорил Суяров. – Атаманы, офицеры над нами смывались, плевали на нас, и ты – коммунист – плюешься. А всё говорите, что вы за народ... Эй, кто там есть?... Уведите комиссара. Завтра отправим тебя в Казанскую.

– Может, подумаешь? – строго спросил один из сотенных.

Лихачев рывком поправил накиннутый внапашку френч, пошел к стоявшему у двери конвою.

Его не расстреляли. Повстанцы же боролись против «расстрелов и грабежей»... На другой день погнали его на Казанскую. Он шел впереди конных конвоиров, легко ступая по снегу, хмурил куцый размет бровей. Но в лесу, проходя мимо смертельно-белой березки, с живостью улыбнулся, стал, потянулся вверх и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали мартовским сладостным соком бурые почки; сулил их тонкий, чуть внятный аромат весенний расцвет, жизнь, повторяющуюся под солнечным кругом. Лихачев совал пухлые почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел на отходившие от мороза, посветлевшие деревья и улыбался уголком бритых губ.

С черными лепестками почек на губах он и умер: в семи верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных бурунах его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, испоганили большое, мужественное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубок, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожавшую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову.

XXXII

Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не два станичных юрта. Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни; явно клони-

лись на сторону повстанцев Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкий и Хоперский округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах; волновались окраинные к Вешенской хутора Алексеевской станицы... Вешенская, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах советы, и, как ни странно, осталось в обиходе даже, некогда ругательное, слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг: «За Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на папахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки – белой – появлялись две: белая накрест с красной...

Суярова на должности командующего объединенными повстанческими силами сменил молодой – двадцативосьмилетний – хорунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умница. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и скороговорист. Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужиковатым, не отличимым ничем.

Начальником штаба выбрали подьесаула Сафонова Илью, и выбрали лишь потому, что парень был трусоват, но на руку писуч, шибко грамотен. Про него так и сказали на сходе:

– Сафонова в штаб сажайте. В строю он негож. У него и урону больше будет, не оберегет он казаков, да и сам, гляди, наломает. Из него вояка, как из цыгана поп.

Малый ростом, кругловатого чекана, Сафонов на такое замечание обрадованно улыбнулся в желтые с белесым подбоем усы и с великой охотой согласился принять штаб.

Но Кудинов и Сафонов только оформляли то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у них руки, да и не по их силам было управлять такой машиной и поспевать за стремительным взрывом событий.

4-й Заамурский конный полк, с влившимися в него большевиками Усть-Хоперской, Еланской и, частью, Вешенской станиц, с боем прошел ряд хуторов, перевалил Еланскую грань и степью двигался на запад вдоль Дона.

5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления: не было патронов и винтовок. На их жалкие выстрелы замурцы засыпали их пулеметным дождем, крыли из двух батарей. В такой обстановке некогда было дожидаться распоряжений из округа. И Петро Мелехов решил выступить со своими двумя сотнями.

Он принял командование и над остальными четырьмя сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки. Бой развернулся позже.

У Красного лога, в восьми верстах от хутора Татарского, где когда-то Григорий с женой пахал, где в первый раз признался он Наталье, что не любит ее, – в этот тусклый зимний день на снегу возле глубоких яров спешивались конные сотни, рассыпались цепи, коноводы отводили под прикрытие лошадей. Внизу из вогнутой просторной котловины, в три цепи шли красные. Белый простор падьи был иссечен черными пятнышками людей. К цепям подъезжали подводы, мельтешили конные. Казаки, отделенные от противника двумя верстами расстояния, неспешно готовились принимать бой.

На своем сытом, слегка запаренном коне от еланских, уже рассыпавшихся сотен подскакал к Григорию Петро. Он был весел, оживлен.

– Братухи! Патроны поберегайте! Бить, когда отдам команду... Григорий, отведи свою полусотню сажень на полтора влево. Поторапливайся! Коноводы пушай в кучу не съезжаются! – Он отдал еще несколько последних распоряжений, достал бинокль. – Никак, батарею устанавливают на Матвеевом кургане?

– Я давно примечаю: простым глазом видать.

Григорий взял из его рук бинокль, взгляделся. За курганом, с обдутой ветрами макушей, – чернели подводы, крохотные мелькали люди.

Татарская пехота, – «пластунки», как их шутя прозвали конные, – несмотря на строгий приказ не сходиться, собирались толпами, делились патронами, курили, перекидывались шутками. На голову выше мелковатых казаков качалась папаха Христони (попал он в пехоту, лишившись коня), краснел треух Пантелея Прокофьевича. В пехоте гуляли большинство стариков и молодятник. Вправо от несрезанной чащи подсолнечных будыльев версты на полторы стояли еланцы. Шестьсот человек было в их четырех сотнях, но почти двести коноводили. Треть всего состава скрывалась с лошадьми в пологих отнoжинах яров.

– Петро Пантелевич! – кричали из пехотных рядов. – Гляди, в бою не бросай нас, пеших!

– Будьте спокойные! Не покинем, – улыбался Петро и, поглядывая на медленно подвигавшиеся к бугру цепи красных, начал нервно поигрывать плеткой.

– Петро, тронь сюда, – попросил Григорий, отходя от цепи в сторону.

Тот подъехал. Григорий, морщась, с видимым недовольством сказал:

– Позиция мне не по душе. Надо бы минуть эти яры. А то обойдут нас с флангу – беды наберемся. А?

– Чего ты там! – досадливо отмахнулся Петро. – Как это нас обойдут! Я в лизерве оставил одну сотню, да на худой конец и яры сгодятся. Они не помеха.

– Гляди, парень! – предостерегающе кинул Григорий, не в последний раз быстро ощупывая глазами местность.

Он подошел к своей цепи, оглядел казаков. У многих на руках уже не было варежек и перчаток. Припекло волнение – сняли. Кое-кто нудился: то шашку поправит, то шпенек пояса передвинет потуже.

– Командер наш слез с коня, – улыбнулся Федот Бодовсков и насмешливо чуть покивал в сторону Петра, развалисто шагавшего к цепям.

– Эй ты, генерал Платов! – ржал однорукий Алешка Шамиль, вооруженный только шашкой. – Прикажи донцам по чарке водки!

– Молчи, водошник! Отсекут тебе красные другую руку, чем до рта понесешь? Из корыта придется хлебать.

– Но-но!

– А выпил бы, недорого отдал! – вздыхал Степан Астахов и даже русский ус закручивал, скинув руку с эфеса.

Разговоры по цепи шли самые не подходящие к моменту. И разом смолкли, как только за Матвеевым курганом октавой бухнуло оружие.

Густой полновесный звук вырвался из жерла комком и долго таял над степью, как белая пенка дыма, сомкнувшись с отчетливым и укороченно-резким треском разрыва. Снаряд не добрал расстояния, разорвался в полуверсте от казачьей цепи. Черный дым в белом лучистом оперенье снега медленно взвернулся над пашней, рухнул, стелясь и приныкая к бурьянам. Сейчас же в красной цепи заработали пулеметы. Пулеметные очереди выстукивали ночной колоушкой сторожа. Казаки легли в снег, в бурьянок, в щетинистые безголовые подсолнухи.

– Дым дoже черный! Вроде как от немецкого снаряду! – крикнул Прохор Зыков, оглядываясь на Григория.

В соседней Еланской сотне поднялся шум. Ветром допахнуло крик:

– Кума Митрофана убило!

Под огнем к Петру подбежал рыжебородый рубежинский сотенный Иванов. Он вытирал под папайой лоб, задышался:

– Вот снег – так снег! До чего стрямок – ног не выдернешь!

– Ты чего? – настропалился, сдвигая брови, Петро.

– Мысля пришла, товарищ Мелехов! Пошли ты одну сотню низом, к Дону. Сними с цепи и пошли. Нехай они низом спускаются и добегут до хутора, а оттель вдарют в тыл красным. Они обозы, небось, побросали... Ну какая там охрана? Опять же панику наведут.

«Мысля» Петру понравилась. Он скомандовал своей полусотне стрельбу, махнул рукой стоявшему во весь рост Латышеву и валко зашагал к Григорию. Объяснил, в чем дело, коротко приказал:

– Веди полусотню. Нажми на хвост!

Григорий вывел казаков, в ложине посадились верхом, шибкой рысью запыхали к хутору.

Казаки выпустили по две обоймы на винтовку, примолкли. Цепи красных легли. Захлебывались чечеткой пулеметы. У одного из коноводов вырвался раненный шальной пулей белогоний конь Мартина Шамяля и, обезумев, промчался через цепь рубежинских казаков, пошел под гору к красным. Пулеметная струя резанула его, и конь на всем скаку высоко вскинул задком, грянулся в снег.

– Цель в пулеметчиков! – передавали по цепи Петров приказ.

Целили. Били только искусные стрелки – и нашкодили: невзрачный казачишка с Верхне-Кривского хутора одного за другим перебил пулями трех пулеметчиков, и «максим» с закипевшей в кожухе водой умолк. Но перебитую прислугу заменили новые. Пулемет опять зарокотал, рассеивая смертные семена. Залпы валились часто. Уже заскучали казаки, все глубже зарываясь в снег. Аникушка докопался до голенькой земли, не переставая чудить. Кончились у него патроны (их было пять штук в зеленой проржавленной обойме), и он изредка, высывая из снега голову, воспроизводил губами звук, очень похожий на свист, издаваемый сурком в момент испуга.

– Агхю!... – по-сурчиному вскрикивал Аникушка, обводя цепь дурашливыми глазами.

Справа от него до слез закатывался Степан Астахов, а слева сердито матил Антипка Брех:

– Брось, гадюка! Нашел час шуток вышучивать!

– Агхю!... – поворачивался в его сторону Аникушка, в нарочитом испуге округляя глаза.

В батарее красных, вероятно, ощущался недостаток в снарядах: выпустив около тридцати снарядов, она смолкла. Петро нетерпеливо поглядывал назад, на гребень бугра. Он послал двух вестовых в хутор с приказом, чтобы все взрослое население хутора вышло на бугор, вооружившись вилами, кольями, косами. Хотелось ему задать красным острastку и тоже рассыпать три цепи.

Вскоре на кромке гребня появился и повалил под гору густыми толпами народ.

– Гля, галь черная высыпала!

– Весь хутор вышел.

– Да там, никак, и бабы!

Казаки перекрикивались, улыбались. Стрельбу прекратили совсем. Со стороны красных работало лишь два пулемета да изредка прогромыхивали залпы.

– Жалко, батарея ихняя приутихла. Кинули б один снаряд в бабье войско, вот поднялось бы там! С мокрыми подолами бегли бы в хутор! – с удовольствием говорил безрукий Алешка, видимо, всерьез сожалея, что по бабам не кинут красные ни одного снаряда.

Толпы стали выравниваться, дробиться. Вскоре они растянулись в две широкие цепи. Стали.

Петро не велел им подходить даже на выстрел к казачьей цепи. Но одно появление их произвело на красных заметное воздействие. Красные цепи стали отходить, спускаясь на днище падины. Коротко посоветовавшись с сотенными, Петро обнажил правый фланг, сняв две цепи

еланцев, – приказал им в конном строю идти на север, к Дону, чтобы там поддержать наскок Григория. Сотни на виду у красных выстроились на той стороне Красного яра, пошли на низ к Дону.

Стрельба по отступавшим красным цепям возобновилась.

В это время из «резерва», составленного из баб, стариков и подростков, в боевую цепь проникло несколько баб поотчаянней и гурт ребятишек. С бабами заявила и Дарья Мелехова.

– Петя, дай я стрéльну по красному! Я ж умею винтовкой руководствовать.

Она и в самом деле взяла Петров карабин; с колена, по-мужски, уверенно прижав приклад к вершине груди, к узкому плечу, два раза выстрелила.

А «резерв» зябнул, постукивая ногами, попрыгивал, сморкался. Обе цепи шевелились, как от ветра. У баб синели щеки и губы; под широкими подолами юбок охально хозяйничал мороз. Ветхие старики вовсе замерзли. Многих из них, в том числе и деда Гришаку, под руки вели на крутую гору от хутора. Но здесь, на бугре, доступном вышним ветрам, от далекой стрельбы и холода старики оживились. В цепи шли между ними нескончаемые разговоры о прежних войнах и боях, о тяжелой нынешней войне, где сражаются брат с братом, отец с сыном, а пушки бьют так издалека, что простым оком и не увидишь их...

XXXIII

Григорий с полусотней потрепал обоз первого разряда заамурцев. Восемь красноармейцев было зарублено. Взято четыре подводы с патронами и две верховых лошади. Полусотня отделалась убитой лошадей да пустяковой царапиной на теле одного из казаков.

Но пока Григорий уходил вдоль Дона с отбитыми подводами, никем не преследуемый и крайне ошастливленный успехом, на бугре подошла развязка боя. Эскадрон заамурцев далеким кружным путем еще перед боем пошел в обход, сделал десятиверстный круг и, внезапно вывернувшись из-за бугра, ударил атакой по коноводам. Все смешалось. Коноводы вылетели с лошадьми из отнотины Красного яра, некоторым казакам успели подать коней, а над остальными уже заблестели клинки заамурцев. Многие безоружные коноводы пораспускали лошадей, поскакали врассыпную. Пехота, лишенная возможности стрелять, из опасения попасть в своих, как горох из мешка, посыпалась в яр, перебралась на ту сторону, беспорядочно побежала. Те из конных (а их было большинство), которые успели переловить коней, ударились к хутору наперегонки, меряя, «чья добрее».

В первый момент, как только на крик повернул голову и увидел конную лаву, устремляющуюся на коноводов, Петро скомандовал:

– По коням! Пехота! Латышев! Через яр!..

Но добежать до своего коновода он не успел. Лошадь его держал молодой парень Андрюшка Бесхлебнов. Он наметом шел к Петру; две лошади, Петра и Федота Бодовскова, скакали рядом по правой стороне. Но на Андрюшку сбоку налетел красноармеец в распахнутой желтой дубленке, сплеча рубанул его, крикнув:

– Эх ты, вояка, растакую!..

На счастье Андрюшки, за плечами его болталась винтовка. Шашка, вместо того чтобы секануть Андрюшкину, одетую белым шарфом, шею, заскрежетала по стволу, визгнув, вырвалась из рук красноармейца и распрямляющейся дугой взлетела в воздух. Под Андрюшкой горячий конь шарахнулся в сторону, понес щелкать. Кони Петра и Бодовскова устремились следом за ним...

Петро ахнул, на секунду стал, побелел, пот разом залил ему лицо. Глянул Петро назад: к нему подбегало с десятков казаков.

– Погибли! – кричал Бодовсков. Ужас коверкал его лицо.

– Сигайте в яр, казаки! Братцы, в яр!

Петро овладел собой, первый побежал к яру и покатился вниз по тридцатисаженной крутизне. Зацепившись, он порвал полушубок от грудного кармана до оторочки полы, вскочил, отряхнулся по-собачьи, всем телом сразу. Сверху, дико кувыркаясь, переворачиваясь на лету, сыпались казаки.

В минуту их нападало одиннадцать человек. Петро был двенадцатым. Там, наверху, еще постукивали выстрелы, звучали крики, конский топот. А на дне яра попадавшие туда казаки глупо стрясали с папах снег и песок, кое-кто потирал ушибленные места. Мартин Шамиль, выхватив затвор, продувал забитый снегом ствол винтовки. У одного паренька, Маныцкова, сына покойного хуторского атамана, щеки, исполосованные мокрыми стежками бегущих слез, дрожали от великого испуга.

– Что делать? Петро, ве́ди! Смерть в глазах... Куда кинемся? Ой, побьют нас!

Федот заклацал зубами, кинулся вниз по теклине, к Дону.

За ним, как овцы, шарахнулись и остальные.

Петро насилу остановил их:

– Стойте! Порешим... Не беги! Постреляют!

Всех вывел под вымоину в красноглинистом боку яра, предложил, заикаясь, но стараясь сохранить спокойный вид:

– Книзу нельзя идти́ть. Они далеко погонят наших... Надо тут... Расходись по вымоинам... Трои́м на эту сторону зайти́ть... Отстреливаться будем!.. Тут можно осаду выдержать...

– Да пропадем же мы! Отцы! Родимые! Пустите вы меня отсель!.. Не хочу... Не желаю умирать! – завыл вдруг белобрысый, плакавший еще и до этого, парнишка Маныцков.

Федот, сверкнув калмыцким глазом, вдруг с силой ударил Маныцкова кулаком в лицо.

У парнишки хлынула носом кровь, спиной он осыпал со стенки яра глину и еле удержался на ногах, но выть перестал.

– Как отстреливаться? – спросил Шамиль, хватая Петра за руки. – А патронов сколько? Нету патронов!

– Гранату метнут. Ухлай нам!

– Ну а что же делать? – Петро вдруг посинел, на губах его под усами вскипела пена. – Ложись!.. Я командир или кто? Убью!

Он и в самом деле замахал наганом над головами казаков.

Свистящий шепот его будто жизнь вдохнул в них. Бодовсков, Шамиль и еще двое казаков перебежали на ту сторону яра, залегли в вымоине, остальные расположились с Петром.

Весной рыжий поток нагорной воды, ворочая самородные камни, вымывает в теклине ямины, рушит пласты красной глины, в стенах яра роет углубления и проходы. В них-то и засели казаки.

Рядом с Петром, держа винтовку наизготове, стоял, согнувшись, Антип Брехович, бредово шептал:

– Степка Астахов за хвост своего коня поймал... ускакал, а мне вот не пришлось... А пехота бросила нас... Пропадем, братцы!.. Видит бог, погибнем!..

Наверху слышался хруст бегущих шагов. В яр посыпались крошки снега, глина.

– Вот они! – шепнул Петро, хватая Антипку за рукав, но тот отчаянно вырвал руку, заглянул вверх, держа палец на спуске.

Сверху никто близко не подходил к прорези яра. Оттуда слышались голоса, окрики на лошадь...

«Советуются», – подумал Петро, и снова пот, словно широко разверзлись все поры тела, покатился по спине его, по ложбине груди, лицу...

– Эй, вы! Вылазьте! Все равно побьем! – закричали сверху.

Снег падал в яр гуще, белой молочной струей. Кто-то, видимо, близко подошел к яру.

Другой голос там же уверенно проговорил:

– Сюда они прыгали, вот следы. Да я ведь сам видел!

– Петро Мелехов! Вылазь!

На секунду слепая радость полымем обняла Петра. «Кто меня из красных знает? Это же свои! Отбили!» Но тот же голос заставил его задрожать мелкой дрожью:

– Говорит Кошевой Михаил. Предлагаем сдаться добром. Все равно не уйдете!

Петро вытер мокрый лоб, на ладони остались полосы розового кровавого пота.

Какое-то странное чувство равнодушия, граничащего с забытьём, подкралось к нему.

И диким показался крик Бодовскова:

– Вылезем, коли посулитесь отпустить нас. А нет – будем отстреливаться! Берите!

– Отпустим... – помолчав, ответили сверху.

Петро страшным усилием стряхнул с себя сонную одурь. В слове «отпустим» показалась ему невидимая ухмылка. Глухо крикнул:

– Назад! – но его уже никто не слушался.

Казаки – все, за исключением забившегося в вымоину Антипки, – цепляясь за уступы, полезли наверх.

Петро вышел последним. В нем, как ребенок под сердцем женщины, властно ворохнулась жизнь. Руководимый чувством самосохранения, он еще сообразил выкинуть из магазинки патроны, полез по крутому скату. Мутилось у него в глазах, сердце занимало всю грудь. Было душно и тяжело, как в тяжелом сне в детстве. Он оборвал на ворота гимнастерки пуговицы, порвал воротник грязной нательной рубахи. Глаза его застилал пот, руки скользили по холодным уступам яра. Хрипя, он выбрался на утоптанную площадку возле яра, кинул под ноги себе винтовку, поднял кверху руки. Тесно кучились вылезшие раньше него казаки. К ним, отделившись от большой толпы пеших и конных замурцев, шел Мишка Кошевой, подъезжали конные красноармейцы...

Мишка подошел к Петру в упор, тихо, не поднимая от земли глаз, спросил:

– Навоевался? – Подождав ответа и все так же глядя Петру под ноги, спросил: – Ты командовал ими?

У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости, с трудом донес он руку до мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа, осыпанная язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино тело, что казалось – он не устоит на ногах, упадет. Но он сейчас же, рывком вскинул на Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь в них странно-чужим взглядом, скороговоркой бормотнул:

– Раздевайся!

Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег; снял папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на полу полушубка, стал стаскивать сапоги, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

Иван Алексеевич спешил, подошел сбоку и, глядя на Петра, стискивал зубы, боясь разрыдаться.

– Белье не сымай, – прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: – Живей, ты!..

Петро засуетился, скомкал снятые с ног шерстяные чулки, сунул их в голенища, выпрямившись, ступил с полушубка на снег босыми, на снегу шафранно-желтыми ногами.

– Кум! – чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. – Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня! – попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком вобрал голову в плечи.

Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка.

Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из него кровь. Последним в жизни усилием Петро с трудом развернул ворот нательной рубахи, обнажив под левым соском пулевой надрез. Из него, помедлив, высочилась кровь, потом, найдя выход, со свистом забила вверх дегтярно-черной струей.

XXXIV

На заре разведка, посланная к Красному яру, вернулась с известием, что красных не обнаружено до Еланской грани и что Петро Мелехов с десятью казаками лежат, изрубленные, там же, в вершине яра.

Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, доночевывать ушел к Христоне. Выгнали его из дому бабы причитания по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. До рассвета просидел он в Христониной хате около приглубка. Жадно выкуривал папироску и, словно боясь остаться с глазу на глаз со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь, хватался за кисет, – до отказа вдыхая терпкий дым, заводил с дремавшим Христонею посторонние разговоры.

Рассвело. Оттепель началась с самого утра. Часам к десяти на унавоженной дороге показались лужи. С крыш капало. Голосили по-весеннему кочета, где-то, как в знойный полдень, одиноко кудахтали курица. На сугреве, на солнечной стороне базов, терлись о плетни быки. Ветром несло с бурых спин их осекшийся по весне волос. Пахло талым снегом пряно и пресно. Покачиваясь на голой ветке яблони около Христониных ворот, чурликала крохотная желтопузая синичка-зимнуха.

Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил стрекотание синицы на знакомый с детства язык. «Точи-плуг! Точи-плуг!» – радостно выговаривала синичка в этот ростепельный день, а к морозу – знал Григорий – менялся ее голос: скороговоркой синица советовала, и получалось также похоже: «Обувай-чирики! Обувай-чирики!»

Григорий перебрасывал взгляд с дороги на скачущую зимнуху. «Точи-плуг! Точи-плуг!» – выщелкивала она. И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в детстве пасли они в степи индюшат, и Петро, тогда белоголовый, с вечно облупленным курносом, мастерски подражал индюшину бормотанию и так же переводил их говор на свой детский, потешный язык. Он искусно воспроизводил писк обиженного индюшонка, тоненько выговаривая: «Все в сапожках, а я нет! Все в сапожках, а я нет». И сейчас же, выкатывая глазенки, сгибал в локтях руки, – как старый индюк, ходил боком, бормотал: «Гур! Гур! Гур! Гур! Купим на базаре сорванцу сапожки!» Тогда Григорий смеялся счастливым смехом, просил еще погугарить по-индюшину, упрашивал показать, как озабоченно бормочет индюшинный выводок, обнаруживший в траве какой-нибудь посторонний предмет вроде жестянки или клочка материи...

В конце улицы показалась головная подвода. Сбоку шел казак. Следом за первой выползли вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрошенных воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам: мать, обезумевшую от горя, хотел удержать в первую страшную минуту и не допустить к подводе с трупом Петра. Рядом с передней подводой шагал без шапки Алешка Шамиль. Обрубком руки он прижимал к груди папаху, в правой держал волосяные вожжи. Григорий, не задержавшись взглядом на лице Алешки, глянул на сани. На соломенной подстилке, лицом вверх, лежал Мартин Шамиль. Лицо, зеленая гимнастерка на груди и втянутом животе залиты смерзшейся кровью. На второй подводе везли Манышкова. Изрубленным лицом уткнут он в солому. У него зябко втянута в плечи голова, а затылок срезан начисто умелым ударом: черные сосульки волос бахромой окаймляли обнаженные черепные кости. Григорий глянул на третью подводу. Он не узнал мертвого, но руку с восковыми, желтыми от табака пальцами приметил. Она свисала с саней, чертила талый снег пальцами, перед

смертью сложенными для крестного знамения. Мертвый был в сапогах и шинели; даже шапка лежала на груди. Лошадь четвертой подводы Григорий схватил за уздцы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи, детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца.

– Вот он, наш любушка Петро Пантелевич! Отходил по земле, – сказал кто-то тихонько.

Без шапки вошел в ворота Степан Астахов. Невесть откуда появились дед Гришака и еще трое стариков. Григорий растерянно оглянулся:

– Давайте понесем в курень...

Подводчик взялся было за ноги Петра, но толпа молча расступилась, почтительно дала дорогу сходящей с порожков Ильиничне.

Она глянула на сани. Мертвенная бледность полосой легла у ней на лбу, покрыла щеки, нос, поползла по подбородку. Под руки подхватил ее дрожавший Пантелей Прокофьевич. Первая заголосила Дуняшка, ей откликнулись в десяти концах хутора. Дарья, хлопнув дверьми, растрепанная, опухшая, выскочила на крыльцо, рухнула в сани.

– Петюшка! Петюшка, родимый! Встань! Встань!

У Григория чернь в глазах.

– Уйди, Дашка! – не помня себя, дико закричал он и, не рассчитав, толкнул Дарью в грудь.

Она упала в сугроб. Григорий быстро подхватил Петра под руки, подводчик – за босые щиколотки, но Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо, целуя, хватая негнущиеся, мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой, чувствовал, что еще миг – и он потеряет над собой власть. Дуняшка силком оторвала Дарьины руки, прижала обеспамятевшую голову ее к своей груди.

Стояла на кухне выморочная тишина. Петро лежал на полу странно маленький, будто ссохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго вытянулось, похорошело. Из-под завязок шаровар высовывались босые волосатые ноги. Он медленно оттаивал, под ним стояла лужица розовой воды. И чем больше отходило промерзшее за ночь тело, – резче ощущался соленый запах крови и приторно-сладкий васильковый трупный дух.

Пантелей Прокофьевич стругал под навесом сарая доски на гроб. Бабы возились в горенке около не приходившей в память Дарьи. Изредка оттуда слышался чей-нибудь резкий истерический всхлип, а потом ручьиисто журчал голос свахи Василисы, прибежавшей «делить» горе. Григорий сидел на лавке против брата, крутил сигарку, смотрел на желтое по краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод отчуждения уже делил его с братом. Был Петро теперь не своим, а недолгим гостем, с которым пришла пора расстаться. Лежит сейчас он, равнодушно привалившись щекой к земляному полу, словно ожидая чего-то, с успокоенной таинственной полуулыбкой, замерзшей под пшеничными усами. А завтра в последнюю путину соберут его жена и мать.

Еще с вечера нагрела ему мать три чугуна теплой воды, а жена приготовила чистое белье и лучшие шаровары с мундиром. Григорий – брат его однокровник – и отец обмоют отныне не принадлежащее ему, не стыдящееся за свою наготу тело. Оденут в праздничное и положат на стол. А потом придет Дарья, вложит в широкие, ледяные руки, еще вчера обнимавшие ее, ту свечу, которая светила им обоим в церкви, когда они ходили вокруг аналая, – и готов казак Петро Мелехов к проводам туда, откуда не возвращаются на побывку к родным куреням.

«Лучше б погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах!» – мысленно с укором говорил брату Григорий и, взглянув на труп, вдруг побелел: по щеке Петра к пониклой ушине ползла слеза. Григорий даже вскочил, но, всмотревшись внимательней, вздохнул облегченно: не мертвая слеза, а капелька с оттаявшего курчавого чуба упала Петру на лоб, медленно скатилась по щеке.

XXXV

Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов назначен был командиром Вешенского полка. Десять сотен казаков повел Григорий на Каргинскую. Предписывал ему штаб во что бы то ни стало разгромить отряд Лихачева и выгнать его из пределов округа, с тем чтобы поднять все чирские хутора Каргинской и Боковской станиц.

И Григорий 7 марта повел казаков. На оттаявшем бугре, покрытом черными голызинами, пропустил он мимо себя все десять сотен. В стороне от шляха, избоченясь, горбатился он на седле, туго натягивал поводья, сдерживал горячившегося коня, а мимо походными колоннами шли сотни обдонских хуторов: Базков, Белогорки, Олышанского, Меркулова, Громковского, Семеновского, Рыбинского, Водянского, Лебяжьего, Ерика.

Перчаткой гладил Григорий черный ус, шевелил коршунячьим носом, из-под крылатых бровей угрюмым, осадистым взглядом провожал каждую сотню. Множество захлюстанных конских ног месило бурю толочь снега. Знакомые казаки, проезжая, улыбались Григорию. Над папахами их слоился и таял табачный дым. От лошадей шел пар.

Примкнул Григорий к последней сотне. Версты через три встретил их разъезд. Урядник, водивший разъезд, подскакал к Григорию:

– Отступают красные по дороге на Чукарин!

Боя лихачевский отряд не принял. Но Григорий кинул в обход три сотни казаков и так нажал с остальными, что уже по Чукарину стали бросать красноармейцы подводы, зарядные ящики. На выезде из Чукарина, возле убогой церковенки, застряла в речке лихачевская батарея. Ездовые обрубили постромки, через левады усаkali на Каргинскую.

Пятнадцать верст от Чукарина до Каргинской казаки прошли без боя. Правее, за Ясеновку, разъезд противника обстрелял разведку вешенцев. На том дело и кончилось. Казаки уже начали пошучивать: «До Новочеркасска пойдет!»

Григория радовала захваченная батарея. «Даже замки не успели попортить», – пренебрежительно подумал он. Быками выручали застрявшие орудия. Из сотен в момент набралась прислуга. Орудия шли в двойной упряжке: шесть пар лошадей тянули каждое. Полусотня, назначенная в прикрыtie, сопровождала батарею.

В сумерках налетом забрали Каргинскую. Часть лихачевского отряда с последними тремя орудиями и девятью пулеметами была взята в плен. Остальные красноармейцы вместе с Каргинским ревкомом успели хуторами бежать в направлении Боковской станицы.

Всю ночь шел дождь. К утру заиграли лога и буераки. Дороги стали непроездны: что ни ложок – ловушка. Напитанный водой снег проваливался до земли. Лошади стряли, люди падали от усталости.

Две сотни под командой базковского хорунжего Ермакова Харлампия, высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили в сплошных хуторах – Латышевском и Вислогузовском – около тридцати оставших красноармейцев; утром привели их в Каргинскую.

Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Пленных пригнали к нему во двор. Ермаков пошел к Григорию, поздоровался.

– Взял двадцать семь красных. Тебе там вестовой коня подвел. Зараз выезжаешь, что ль?

Григорий подпоясал шинель, причесал перед зеркалом свалывшиеся под папачой волосы, только тогда повернулся к Ермакову:

– Поедем. Выступать сейчас. На площади устроим митинг – и в поход.

– Нужен он, митинг! – Ермаков повел плечом, улыбнулся. – Они и без митинга уже все на конях. Да вон, гляди! Это не вешенцы подходят сюда?

Григорий выглянул в окно. По четыре в ряд, в прекрасном порядке шли сотни. Казаки – как на выбор, кони – хоть на смотр.

– Откуда это? Откуда их черт принес? – радостно бормотал Григорий, на бегу надевая шашку.

Ермаков догнал его у ворот.

К калитке уже подходил сотенный командир передней сотни. Он почтительно держал руку у края папахи, протянуть ее Григорию не осмелился.

– Вы – товарищ Мелехов?

– Я. Откуда вы?

– Примите в свою часть. Присоединяемся к вам. Наша сотня сформирована за нынешнюю ночь. Эта – с хутора Лиховидова, а другие две сотни – с Грачева, с Архиповки и Василевки.

– Ведите казаков на площадь. Там зараз митинг будет.

Вестовой (Григорий взял в вестовые Прохора Зыкова) подал ему коня, даже стремя подержал. Ермаков как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно опираясь над седлом разрез шинели:

– С пленниками как быть?

Григорий взял его за пуговицу шинели, близко нагнулся, клонясь с седла. В глазах его сверкнули рыжие искорки, но губы под усами хоть и зверовато, а улыбались.

– В Вёшки прикажи отогнать. Понял? Чтоб ушли не дальше вон энтот кургана! – Он махнул плетью в направлении нависшего над станицей песчаного кургана, тронул коня.

«Это им за Петра первый платеж», – подумал он, трогая рысью, и без видимой причины плетью выбил на крупе коня белесый вспухший рубец.

XXXVI

Из Каргинской Григорий повел на Боковскую уже три с половиной тысячи сабель. Вдогон ему штаб и окрисполком слали нарочными приказы и распоряжения. Один из членов штаба в частной записке витиевато просил Григория:

Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелеевич! До нашего сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Будто бы по твоему приказу уничтожены – сиречь порубаны – тридцать красноармейцев, взятых Харлампием Ермаковым под Боковской. Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришка, коий мог нам очень пригодиться на предмет освещения их сил. Ты, дорогой товарищ, отмени приказ пленных не брать. Такой приказ нам вредный ужасно, и казаки вроде роптают даже на такую жестокость и боятся, что и красные будут пленных рубить и хутора наши уничтожать. Командный состав тоже препровождай живьем. Мы их потихоньку будем убирать в Вешках либо в Казанской, а ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина, и все предаешь огню и мечу и казаков волнуешь. Ты остепенись, пожалуйста, пленных смерти не предавай, а направляй к нам. В вышеуказанном и будет наша сила. А за сим будь здоров. Шлем тебе низкий поклон и ждем успехов.

Письмо Григорий, не дочитав, разорвал, кинул под ноги коню. Кудинову на его приказ:

Немедленно развивай наступление на юг, участок Крутенский – Астахово – Греково. Штаб считает необходимым соединиться с фронтом кадетов. В противном случае нас окружают и разобьют, – не сходя с седла, написал:

Наступаю на Боковскую, преследую бегущего противника. А на Крутенький не пойду, приказ твой считаю глупым. И за кем я пойду наступать на Астахово? Там, окромя ветра и хохлов, никого нет.

На этом официальная переписка его с повстанческим центром закончилась. Сотни, разбитые на два полка, подходили к граничащему с Боковской хутору Конькову. Ратный успех еще в течение трех дней не покидал Григория. С боем заняв Боковскую, Григорий на свой риск тронулся на Краснокутскую. Искрошил небольшой отряд, заградивший ему дорогу, но взятых пленных рубить не приказал, отправил в тыл.

9 марта он уже подводил полки к слободе Чистяковка. К этому времени красное командование, почувствовав угрозу с тыла, кинуло на восстание несколько полков и батарей. Под Чистяковкой подошедшие красные полки цокнулись с полками Григория. Бой продолжался часа три. Опасаясь «мешка», Григорий оттянул части к Краснокутской. Но в утреннем бою 10 марта вешенцев изрядно потрепали красные хоперские казаки. В атаке и контратаке сошлись донцы с обеих сторон, рубанулись, как и надо, и Григорий, потеряв в бою коня, с разрубленной щечкой, вывел полки из боя, отошел до Боковской.

Вечером он допросил пленного хопера. Перед ним стоял немолодой казак Тепикинской станицы, белобрысый, узкогрудый, с ключьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы он отвечал охотливо, но улыбался туго и как-то вкось.

– Какие полки были в бою вчера?

– Наш Третий казачий имени Стеньки Разина. В нем почти все Хоперского округа казаки. Пятый Заамурский, Двенадцатый кавалерийский и Шестой Мценский.

– Под чьей общей командой? Говорят, Киквидзе¹⁰ вел?

– Нет, товарищ Домнич сводным отрядом командовал.

– Припасов много у вас?

– Черт-те сколько!

– Орудий?

– Восемь, никак.

– Откуда сняли полк?

– С Каменских хуторов.

– Объяснили, куда посылают?

Казак помялся, но все же ответил. Григорию захотелось поведать о настроении хоперцев.

– Что гутарили промеж себя казаки?

– Неохота, мол, идтить...

– Знают в полку, против чего мы восстали?

– Откеда же знать-то?

– Почему же неохотно шли?

– Дык казаки же вы-то! А тут надоело пестаться с войной. Мы ить как с красными пошли – и вот доси.

– У нас, может, послужишь?

Казак пожал узкими плечами.

– Воля ваша! Оно бы неохота...

– Ну, ступай. Пустим к жене... Наскучал, небось?

Григорий, сузив глаза, посмотрел вслед уходившему казаку, позвал Прохора. Долго курил, молчал. Потом подошел к окну, стоя спиной к Прохору, спокойно приказал:

¹⁰ Киквидзе Василий Исидорович (1894–1919) – революционер, коммунист, герой гражданской войны, командир дивизии. Погиб в бою 11 февраля 1919 года.

– Скажи ребятам, чтоб вон этого, какого я зараз допрашивал, потихоньку увели в сады. Казаков красных я в плен не беру! – Григорий круто повернулся на стоптанных каблуках. – Нехай зараз же его... Ходи!

Прохор ушел. С минуту стоял Григорий, обламывая хрупкие веточки гераней на окне, потом проворно вышел на крыльцо. Прохор тихо говорил с казаками, сидевшими на сугреве под амбаром.

– Пустите пленного. Пущай ему пропуск напишут, – не глядя на казаков, сказал Григорий и вернулся в комнату, стал перед стареньким зеркалом, недоуменно развел руками.

Он не мог объяснить себе, почему он вышел и велел отпустить пленного. Ведь испытал же он некоторое злорадное чувство, что-то похожее на удовлетворение, когда с усмешкой про себя проговорил: «Пустим к жене... Ступай», – а сам знал, что сейчас позовет Прохора и прикажет хоперца стукнуть в садах.

Ему было слегка досадно на чувство жалости, – что же иное, как не безотчетная жалость, вторглось ему в сознание и побудило освободить врага? И в то же время освежающе радостно... Как это случилось? Он сам не мог дать себе отчета. И это было тем более странно, что вчера же сам он говорил казакам: «Мужик – враг, но казак, какой зараз идет с красными, двух врагов стоит! Казаку, как шпиону, суд короткий: раз, два – и в божьи ворота».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.